



BULGARIA

MOLDAVIÆ PA

**АЛЕКСЕЙ  
ЧЕЛПАЧЕНКО**

**КОЗАЦЬКИЙ  
ШЛЯХ**



*Symbolum vel Characterum declaratio*  
Antiqua  
Oppidum Turca  
Oppidum  
Sloboda Nova Clona  
Pagus  
Flumen  
Vallis  
C Mons  
M Tomulus  
caput sine  
cadavera  
Infula  
Roma  
Lora Paludosa  
Fons  
Molendinum  
Transitus  
Pagus Turbarorum  
Hamaxabissum  
Signum quo Flumen  
Acturrit  
Quercetum.

*Chalcographus lectori salutem*  
Eunti Amice...  
Camps desertis ab...  
tempore...  
Sella...  
acuratiffime...  
tum modo...  
tibi non...  
Delago

VOLYNIA

Алексей Челпаченко

**Козацкий шлях**

«Издательские решения»

**Челпаченко А.**

Козацкий шлях / А. Челпаченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-932968-4

Первая половина XVII века. Южные воеводства шляхетной Речи Посполитой, значительную часть населения которых составляют казаки, объята огнём этнических, религиозных и сословных конфликтов. Читатель, на фоне разворачивающихся драматических событий (исход части запорожских казаков на Дон после поражения в 1638 году казацкого восстания Острянина — Гуни) найдёт ответы на множество вопросов связанных с историей Украины-Руси и историей запорожского казачества.

ISBN 978-5-44-932968-4

© Челпаченко А.  
© Издательские решения

# Содержание

Предисловие	6
Пролог	7
Глава I	9
Глава II	13
Глава III	17
Глава IV	21
Глава V	24
Глава VI	33
Глава VII	39
Глава VIII	56
Глава IX	63
Конец ознакомительного фрагмента.	73

# **Козацкий шлях**

**Алексей Челпаченко**

© Алексей Челпаченко, 2018

ISBN 978-5-4493-2968-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Предисловие

*– Диду, диду, ты куда?!  
(Внучка, обращаясь к схватившемуся  
за шапку хмельному деду)  
– На Украйну-далэко!*

*(Из рассказов моей бабушки-казачки).*

Почитай как четыре века тому назад далёкие мои пращуры в лихую годину были принуждены покинуть тот край, где некогда, в Великой Степи, зародился козацкий народ наш. Мыслилось им ненадолго, а вышло – навеки. Всевластная сила, которая одна и управляет всем сущим, а имя ей – Промысел Божий, захватила их своей рукою и повлекла, погнала, как ветер катит по степи перекасти-поле, в долгие скитания по степовым околицам Руси сначала на Дон, а потом на Яик...

Низкие происхождением и великие духом, воспетые и ошельмованные, прославленные и проклинаемые, святые в смерти и многогрешные в жизни, о вас, пращуры, эта книга...

## Пролог

*Закрыв глаза, я вижу их,  
В угрюмых шрамах боевых —  
Таких могучих и суровых...  
Их поступь звонко тяжела,  
На лбу забота залегла,  
Но ищет взгляд просторов новых...  
Силен и верен взмах руки,  
Прямые плечи широки,  
Скупы слова, улыбки редки.  
Вояки с ног до головы —  
Они все были таковы,  
Во тьме исчезнувшие предки!  
За доблесть дел, за горечь ран  
Им песен не слагал Баян:  
Их славный путь прошел украдкой.  
Лишь в старой записи, порой,  
Про подвиг чей-нибудь лихой,  
Расскажут сдержанно и кратко...*

**Мария Волкова. Париж. 1939 г.**

...Томительное ожидание перед битвою, когда нервы брунжат, как перетянутые струны на кобзе, понемногу становилось нестерпимым. А предтеча смерти – тяжкая могильная тишина исподволь уже объяла собою лес и, казалось, липла к коже, как влажная листва. Терпкий дымок опасности незримо витал в воздухе и явственно щекотал ноздри приторным трупным духом, который загодя чуют лишь падкие до мертвечины звери да ещё может быть старые вои.

Всё укрытое теперь в Чёрном лесе – и запорожский полковник Шамай, застывший как степной идол скифский, и невеликий его козацкий чин, стоящий поручь, и кучи запорогов, теснившиеся за их спинами везде, где вышло ровное место – всё стояло покойно как в божьем храме. И даже кони козацкие, приученные к скрадываниям, не ржали, не фыркали, а лишь тревожно стригли ушами.

Вдруг чуткий, как журавель, есаул поднял руку горé. Всё, что ни есть живое и допреж того безмолвствовавшее, теперь казалось и вовсе оборотилось в каменных истуканов.

Что почуял на дальности расстояния репаный степовой сироманец, какой знак, то так и осталось неизвестным. Но только не успел бы и самый расторопный козак запалить загодя натоптанную маленькую люльку, обыкновенно прозываемую за то бурунькою, как за Панским Кутом, в обшитом лесом яре, целая туча гайворон с пронзительным граем поднялась в небо.

Мало погода услужливое эхо донесло и другой знак – едва слышный отголосок дружного залпа, заставивший подумать, что, быть может, то не первые предвестницы смерти встали на крыло, а души убиенных, так внезапно вычеркнутые из книги живых, негодуя, заметались над внезапно покинутыми телами.

В самой природе воздуха тотчас, словно что-то незримо дрогнуло и переменялось, ибо для всех живота имущих, которых свёл вседержитель сегодня у этого сельбища, знаки те располовинили занимающийся день на минувшее и грядущее, отказав одним в другом. Но уж так заведено в божьем мире для равновесия, что не можно, чтобы всем мёд, равно как и не можно, чтобы всем дёготь, и что для одних недоля горькая, то для других – прибыль нежданной.

Вот и для полковничьего слуха, чуждый природе звук выстрелов, как видно, сказался милее благовеста. Облегчённо перевёл он дух в тесно облекаемой кольчугою груди, потянул с головы рысью мегерку и, оперевшись на саблю, опустился на колени.

Тотчас стоявший рядом дюжий сотник повернулся к запорожцам и густым своим голо- сом, как в пустой пивной котёл, гукнул:

– Шапки гэть!<sup>1</sup>

Товарищество тут же обнажило головы на краткую козацкую<sup>2</sup> молитву перед битвою. Все разом, кто преклонив колени, а кто просто угнувши обритуемую свою голову и угрюмо загадав, доживёт ли до вечера, все как один, перекрестившись, сказали единым духом: «Крепи».

– Крепи, – жарко вымолвил и полковник. – Пресвята Богородыця, не оставь козацтво запорожское! Владычиця! прикрой нас своею десницею!

Приложившись к крестовине сабли, он поднялся, ободрённый молитвою. Вместо шапки на голове у полковника оказалась дамасская мисюка. Глядя на него и запорожцы покрыли головы и теперь уж принадлежали только господу богу.

– На кинь<sup>3</sup>! – щёлкнул татарской камчой есаул.

Чернобровый козак подвёл к полковнику коня, в жжении горячей крови нетерпеливо раздувающего ноздри, подал повод и придержал стремя. Шамай взлетел в седло, словно пуд с плеч скинул, помолившись. Разобрав повод, попробовал, легко ли идёт из ножен сабля и, не оскорбляя благородного коня плетью, тронул пятками его бока:

– Ну, з богом козаки... Гайда<sup>4</sup>!

---

<sup>1</sup> В тексте речь запорожских козаков на родном языке не соответствует нормам как современного украинского, так и нормам современного русского языков. В постраничных примечаниях дан перевод, соответствующий нормам современного украинского и русского языков. Гэть (укр. геть) – долой.

<sup>2</sup> Козацкий (от укр. «коза́к») — здесь и далее, в отличие от условно называемых «великорусских» казако́в (донских, яицких и прочих) автору представляется уместным в отношении Южной Руси вообще и Запорожья в частности, употребление слова «коза́к» и производных от него, как обозначающих особую национально-историческую общность и более соответствующих местному написанию и произношению.

<sup>3</sup> Кинь (укр. кінь) – конь.

<sup>4</sup> Гайда (укр. гайда) – восклицание, решительный призыв отправиться куда-либо (возможно, от татарского «айда»).

## Глава I

Год на ту пору случился для христиан 7146 от сотворения всего сущего или 1638 от воплощения слова божьего, а для магометан – 1048 Хиджры.

Семнадцатый день августа, опалив безбрежные просторы Дикого Поля жарким дыханием юга, покатился на убыль. Сплошной плотный ковёр Великой Степи, с ранней весны расширенный нарядными и яркими цветами сочного разномастного густотравья, к исходу лета изрядно выгорел, поблёк, потускнел и был теперь весь повит тончайшим голубоватым полынным куревом. От нагретых за день трав стлался понизу тягучий и густой, почти осязаемый терпкий аромат, но дневной зной начал уже спадать, обещая тоскующей по прохладе земле спасительную вечернюю свежесть.

Приближалась та пора, когда всё, что ни есть живое, все хоронившиеся от пекла обитатели Поля готовились покинуть свои убежища, дабы покормиться либо самим пойти на корм.

В поднебесье, распластав могучие крыла, застыли орлы, высматривая на бурых отвалах нор заплывших жиром байбаков.

Раздвигая мускулистой грудью густые заросли султанистого ковыля и переспелого пырея, показался степовой хорт, весь увешанный репьями, как панночка лентами и дукачами.

Оглядевшись сонными бирючьими глазами, зверь потянулся и, вывалив до земли розовый ломоть языка, лениво зевнул, выказав пасть, усеянную клыками со съеденными остриями. Вышелкнув зубами блоху, удельный князь этих мест хотел было убраться куда-то по своей волчьей надобности и уже занёс лапу, но вместо этого сделал вот что: поджал её, сложил уши и, высоко задрав треугольную морду, потянул влажным носом наносимые в подветренную сторону невидимые воздушные струи. Почувяв ненавистный всякому дикому зверю запах всадника, состоящий из едкой смеси дымов, железа и конского пота, приправленного кисловатым душком кожаной и сыромятной сбруи, матёрый хищник заворчал и, оборотившись, исчез, растворился в травяных кущах.

Некоторое время тишину нарушал только стрекочущий звон кузнечиков да истомный свист сусликов, но вскоре и другие постояльцы степи учуяли неожиданных пришельцев.

Сначала из сырой ямы в затравленном и узком, как ногайский глаз, байраке поднялся клыкастый вепрь и, с хрустом вломившись в бурьян, увёл низом свинью с целым выводком полосатых своих поросят.

Тут же невдалеке буруном всколыхнулись густые заросли, и посеред них вырос точно оживший земляной холм. То исполинский одинокий старый тур, спугнутый с того места, где пролежал весь день, утробно хекнув нутром, натужно встал на задние, а потом на передние ноги, выказав над травой рыжевато-бурую холку с седым ремнём вдоль всего хребта. Угнув лобастую, увенчанную долгими рогами голову, первобытный прародитель мирных волов прислушался и повёл вокруг налитыми кровью глазами. Пожевав губами и пустив длинную нить тягучей слюны, дикий бык сдвинулся с места и, тяжело храпя, побежал прочь, оставляя за собою широкий колыхающийся след от раздвигаемых трав.

Боязливый суслик, высунувшись из норы, что-то тревожно свистнул ему вслед. И только орлы продолжали покойно стоять над землёю, чуть покачивая крылами.

Сначала, вдали показалось долгое облако клубившейся пыли. Потом по травам, точно по встревоженному непогодой морю, пробежала рябь, пошли волны, и по верху сиво-зелёного пустоширокого простора разом высыпало множество каких-то тёмных точек, сопровождаемых частоколом, который на дальности расстояния можно было принять за оголённые будылья.

По мере приближения тёмные точки сказались шапками всадников, а будылья – ратовищами пик, обозначив, таким образом, продиравшийся сквозь буйную растительность и порою почти полностью пропадавший из виду немалый конный отряд.

Вокруг всадников, насколько хватало взора, расстилались исполненные первобытным покоем пустынные дали, и лишь у самого горизонта, там, где в дрожащих струях марева степь целовала небо, маячили горбы древних скифских курганов. Но и за ними, до самых лиманов Чёрного моря, названного агарянским султаном внутренним озером османов, простилались всё те же вековечные степь да печаль.

Верховые шли так скоро, как только позволяли густые травы. Да и то сказать – на ту пору доброму христианину не пристало без нужды шататься по таким гибельным местам, ибо хитрый и сильный всегда мог здесь взять у слабого и беспечного всё, ниже самую жизнь.

Девственные эти пустопаши лежали между несколькими разнохарактерными, постоянно враждующими народами, и селиться на этом пограничье никто не осмеливался, лишь инде попадались ошетилившиеся радутами козацкие паланки да, если не было войны, кочевали, выпасая гурты скота, татарские улусы.

Вся история этой немилостивой земли, от самого сотворения мира дышавшей войной, набегом и той особенною волей, которую так трудно отождествить теперешнему человеку с понятием свободы, искони писалась самой грубой кистью, и непритязательные её самописцы краски предпочитали всё больше чёрные да червонные.

Немало племён степных кочевников растворились в этих безысходных степях, покрыв их бранным доспехом и щедро унавозив кровью и костями. Сколько тут завязалось и развязалось громких побед и скорбных поражений, сколько раз оглашался здесь воздух воплями побиваемых и кликами победителей, кто теперь про то поведает? – стервятники, выклевавшие очи убиенным, или хищные звери, обглодавшие их косточки?

Но род проходил – род приходил, а земля стояла; на костях мертвецов взрастали новые поколения, на место истреблённых племён вставали иные, и многие, ничтоже сумнящся, называли эти дикопорожные пространства своими. История не стояла на месте, тем паче сменялись и те, кому дано её вершить.

Давно уже умер, упав с лошади рыжебородый Потрясатель Вселенной, и даже сама могила ужасного Темучина где-то затерялась.

Некогда великая Византия, оскудев людьми, золотом и верой, пала под грубой пятой османов, покрывших Царьградскую Святую Софию магометанской зелёной чалмою.

Уже и Улус Джучи, как сгнившее лоскутное одеяло расползся на враждующие ханства, и Московское княжество, скинув опостылевший ордынский кожух, дерзко заблестало золотом церковных куполов.

Удачно пришившая к своему подолу богатейшие земли Руси, возвращалась в степь, некогда отодвинутая от её границ Литва, за спиной которой воинственно топорщила усы покревшившая её панская Польша.

Вскоре эти государства, состоявшие в стародавней пре с Московией, слились в унию под именем Речи Посполитой, и два самых больших славянских народа с новою силой принялись грызть друг друга. И причина была не только в том, что одни крестились справа-налево, а другие наоборот. Когда-то Польше припало сдерживать напор тевтонского ордена, а Москве – орды степных кочевников. Ляхи, отступив и потеряв часть своих земель на Западе, обратили свой взор на Восток. Измотанная Ордою Москва не смогла тогда удержать свои западные пределы, уступив их Литве и Польше, но, скинув ордынское ярмо, начала сплачивать народ в едином государстве и мечом возвращать утраченное наследство Рюриков.

Теперь два державных орла – один древний, белый, польский, другой – молодой, золотой и двуглавый, доставшийся Москве в наследство от Византии, скублись так, что перья летели, норвя за вековечные взаимные обиды выклевать друг другу печень.

Белый, простерев свои крыла над русским и татарским берегом Днепра, южнее Чигирина, а по Днестру – ниже Умани, не летал и, похоже, что солнце его былого величия начинало заволакивать тучами грядущих невзгод.

Золотой, пережив лихоманку Смутного времени, ещё только становился на крыло и, паря над Белгородской засечной чертой, опирался в степи на руку донских казаков.

С юга, сквозь кальянный туман минаретного Истанбула, на взаимное истребление неверных насмешливо взирала пресыщенная богатством и силою Оттоманская Порта.

Здесь, на развалинах древнего христианского мира, была голова огромной османской гидры, здесь же на ту пору билось и сердце ислама. Отсюда потрясали в воздухе огромным мечом, сверкавшим над головами ста народов, сюда в продолжение трёх веков встревоженная Европа, недоверчивая Азия и испуганная Африка обращали свои взоры, как на дымящийся вулкан, угрожавший целому свету.

Владения султанов, собравших под зелёное знамя пророка почти всех магометан мира и наложивших тяжкую длань на многие города и веси Европы, были обширнее, чем у древних императоров Рима, и, как видно, близился судный день, когда магометанское море, почти покрывшее собою три континента, должно было либо затопить другую половину света, либо, отражённое, отхлынуть в своё старое русло.

А пока черноусый и удалой османский ловчий, надев суровую рукавицу, приуготовив силки и кожаные клубочки, наблюдал вчуже за державными орлами, выжидая час, когда глупые гяуры, которых всевышний как видно лишил разума, истощат свои силы в взаимоистребляющих расправах.

Для пущего устрашения христианских народов у ног султана, в древней Тавриде, точно пёс бешеный, хрипел на цепи обасурманенный ленник – ханство Крымское.

Острый осколок Золотой Орды, растерявший в смуте и распри степных улусов независимость, неустанно терзал соседей и в зависимости от того, куда дул ветер из Истанбула, впибался, точно волк в подъяремную жилу, то в православное Московское царство, то в католическую оборонную засеку Запада – Речь Посполитую.

Неугомонным кочевникам, всегда имевшим непреодолимую склонность падёж и недород скота пополнять грабежом соседей, нужно было только дожидаться зимы, когда встанут все реки и откроются все дороги на север, где в курных избах Московии водилось много белотелых женщин, одно воспоминание о которых заставляло наполняться слюной пересохшие рты желтолицых ханов и мурз.

В стародавние времена, когда татары крымские, оторвавшись от хвоста монгольской лошади, воевали Большую Орду, разделив степь на крымскую и ногайскую, князь на Москве взял сторону Тавриды.

Давно то было, и прежняя приязнь поросла быльём да горькой степовой полынью. Помогая крымчакам добывать одряхлевшего ордынского зверя, не ведала Москва, какого нового хищника прикармливает себе на беду. Не минуло и нескольких лет, как колченогие дети азиатских бездонных пустынь протоптали меж курганов и каменных баб Дикого Поля, раздувшись от грабежа обозами, несколько новых торных шляхов.

Но дабы собрать за бродами Тихой и Быстрой Сосны урожай кочевников и живыми воротиться с ясырями, надобно было миновать досадную препону на пути – казаков донских. Острая заноза эта ещё с давних ордынских времён прочно засела в кривых татарских ногах, но с некоторых пор, связанная с Московией какими-то взаимными трактатами, делалась нестерпимой, ибо Войско Донское, карауля покой своих городков, закрывало собою и мягкое подбрюшье московского царства.

Но нет на земле преград для тех, кому конский хвост милее девичьих бровей! Можно было поворотить выносливых и неприхотливых бахматов в украинные, русинские воеводства Польши, где кочевники в своё время так сильно обозначили своё присутствие, что, когда на эти

покинутые своими князьями земли пришла Литва, подобрав брошенный Киев, то за сто лет ей едва удалось восстановить в нём жилища. Да и позднее постоянные набеги степняков делали мирную жизнь здесь мало возможной и сильно расхолаживали пыл насельников.

Но и тут, на азиатской границе мира, между Западом, пребывавшим под папской тиранией Ватикана, и Востоком, над которым владычествовал Коран Магомета, утвердился форпост дома Пречистой Богородицы.

То козаки запорожские, допреж того остававшиеся равнодушными назерщиками за вторжениями диких орд в христианские пределы, начали противиться набегам и при любой okazji норовили «Залить бусурманам за ворит кыпячого сала», не то «Пидсыпать пэрцю у кумыс»<sup>5</sup>.

Теперь днём и ночью караулили степь козацкие бекеты, и лишь только начинали вдали маячить чамбулы раскосых гостей, тотчас столбы дыма поднимались от просмоленные фигур на высоких могилах и, запорожец, не мешкая вдевал чобот в стремя.

Что же это были за люди, какого роду-племени, каких корней, откуда вышли и где были допреж того?

---

<sup>5</sup> «Залить бусурманам за ворит кыпячого сала» (укр. залити бусурманам за ворит кыпячого сала) – залить мусульманам за ворот кипящего сала. «Пидсыпать пэрцю у кумыс» (укр. пидсыпати пэрцю у кумыс) – подсыпать перцу в кумыс. Оба фразеологизма имеют значение «сильно досадить своими действиями», «осложнить жизнь своими действиями» и т. п.

## Глава II

Увы, память человеческая, покрытая густым мраком минувших веков, не запомнила их начала. А их пращурь, не имея своих хронистов, тем паче не оставили в скрижалях Клио по себе письменных упоминаний, предпочитая писать свою историю саблями на спинах соседних народов.

И в самой живой памяти козацкого народа за давностью лет почти не осталось о том достоверных следов. Оттого происхождение и зарождение этого племени, чьё имя древнее Батыева нашествия, всегда представляло собою загадку неизвестности и дало позднее обильную пищу для всевозможных толков и домыслов, облепивших его и исказивших истинный облик.

Земли от низовий Дона и Днепра и до самого южного Буга издревле были прибежищем для многих бушевавших в южных степях кочевников. Многие степовые племена, остановившись на своём пути, оседали в Приднепровье, смешивали кровь, перенимая языки, обычаи и нравы, и спеклись со временем воедино. Тогда впервые неясно, глухо и на разные лады заглаголило в летописях новое слово – «казак», читаемое в обе стороны, и по-славянски и по-тюркски, одинаково. В разнообразных его толкованиях никогда не было недостачи, но выводили хронисты его чаще из языков восточных.

Возможно, именно те древние казаки когда-то составили коренное население Тьмутаракани, впоследствии побывали под княжеской рукою Киева, но при первом появления грозных монголов предпочли быть не данниками, а теми, кто дань берёт. Когда Батый, опустошив весь тамошний край, взял Киев, разрушив его до основания, то под его рукою были уже и казаки, получившие за то прозвание «ордынские».

Сделавшись союзниками Орды, казаки оставили за собою право беспрепятственно проживать на прежних своих землях, попавших в границы Великой Татарской Империи, и не только принимали деятельное участие в её походах, но и самочинно совершали набеги на соседей: «В том народе обычай грубый и свирепый, яко же от татар иные. Образ страшен, а живут многие в шатрах и переходят от места в место. Пища же их суровое мясо, а во бранех зело храбры и весьма страшны».

По привычкам и роду жизни мало отличаясь от других кочевников, в разноплеменном царстве Бату были они совершенно своими и составили как бы отдельную орду, разнясь только тем, что издавна, приняв Святое Крещение, обрели Христа. Первые ханы не притесняли инаковерующих, и даже когда Ногай так основательно отатарил степь, что решительно всё там стало носить татарскую одежду и переняло татарский язык и обычаи, казаки удержали во всей прежней чистоте свою веру и язык.

Крымские и ногайские ханы, пришедшие на смену темнику, ценили казацкие роды за храбрость и верность не меньше, чем самых знатных своих сородичей, мурз и князей, и, привлекая казаков в свои дружины, набирали из них отряды для охраны черноморских колоний Генуи.

Но эпоха ордынской истории, наложившая на казаков свою неизгладимую степовую печать, позволявшую и по прошествии нескольких веков наглядно отличать их от всех прочих жителей Юга Руси, уже близилась к концу.

Вернувшиеся из татарских кочевий на Низ Днепра, казаки ещё довольно долго входили во владения Тавриды и пользовались её покровительством, но после того как погромщик Византии Мехмет-Завоеватель утвердил свою ногу на спине покорно склонившегося крымского ханства, пути их с татарами окончательно разошлись.

С той поры новое их самоназвание – «козаки запорожские», вскоре совершенно вытеснило из народной памяти их прежнее имя, ненавистное уже только одним напоминанием о некогда великой Орде.

Вскоре часть их, поднявшись с Низа, заселила пустынные всполья Литовской Руси, польстившись на неотягощенное данью владение тучными пажитями. На ту пору Литва, имея на востоке с Московией, а на юге с Крымом зыбкие и постоянно нуждающиеся в защите границы, прибегла к услугам воинственного христианского народа и при даче им земель, одаривала вольностями и разными преимуществами.

Приняв покровительство литовских князей, а впоследствии христианского короля, козаки, ничем и никем вначале не стесняемые, устраивали свою жизнь на новых землях соответственно старым традициям, держась обособленно как от немногочисленных коренных насельников, так и от разноплеменных крестьян-переселенцев, хлынувших на земли эти позже. Но, став жить выше днепровских порогов, запорожцами они были теперь уже только по названию и, хотя сохраняли по первости это имя, но со временем начали приобретать черты оседлости, делаясь козаками украинными, городовыми.

А страстные до вольной жизни запороги, у которых и церква на гарбе вмещалась, оставшись на богом забытом краю Ойкумены, среди приднепровских дебрей, в трясинах и плавнях Великого Луга, где в зарослях очерета лишь дико завывали волки да ветер, вскоре совершенно обособились не только от не воинственных обывателей Руси, но и от оседлых своих братьев.

И хотя сосуды эти всегда были сообщающимися, всё же запороги, были для Южной Руси явлением почти посторонним и до самой эпохи Хмеля жили бытием совершенно от неё независимым.

Так исподволь начиналось то, что внёсло столько путаницы в самое имя «козак запорожский», а закончилось разделением выросшего из одного корня народа. За малую его часть, до самой гибели Сечи и рассеивания этого племени по лику земли, оставалось прежнее грозное имя, а другая, перетопившись в славянском котле, почти без следа растворилась в новостворённой нации, наречённой сначала малороссом, а потом украинцем.

Но вернёмся к запорогам. Оторвавшись от татарского вымени и не имея причин относиться с враждою к вчерашним соратникам, попервой они почти не ссорились с татарскими улусами. Но год от года всё труднее им становилось ладить, ибо ханы, переняв веру и обычаи своих могущественных завоевателей всё сильнее туречились, а запороги, всё больше козачились. Враги Креста Христова, немилосердно разоряя окраины Литвы и Польши, долго не обращали внимания на низовых соседей, полагая их явлением малозначительным, и совершенно упустили тот момент, когда обычные промеж кочевников свары из-за угоняемых косяков лошадей (явление, в те удалые времена почитаемое в Степи скорее молодечеством, нежели разбоем), переросли в открытое противоборство.

Была ли причина в том, что для потуречившихся татар людоторговля сделалась главным прибытком? А, быть может, дело было в том, что в низовьях Днепра сабля искони приносила больше барышей, чем хозяйство, и обитатели порогов, не занятые никаким трудом, имея источниками существования охоту и рыбную ловитву, всё же основой своей жизни видели войну с бусурманином «во славу божию и на вечную память козацкого имени»? Кто теперь про то доподлинно скажет? Только с той поры вот уже несколько поколений татар и козаков имена эти взаимно почитали бранью.

Так зачиналось вольное, как степовой ветер, непостоянное, как капризная красавица и гульливое как морская волна, замечательное явление европейской истории, которое, может быть, одно сдержало опустошительное нашествие двух магометанских народов, грозивших поглотить всю Европу. И как дитя приходит на свет божий через боль и страдания, так и народ сей зарождался в муках немалых и крови великой. Люлькой для новорожденного была Степь, повитухою при родах – Орда, татары стали няньками при воспитании, а днепрянское лукомо-

рье сделалось тем местом, где свили они своё гнездо – никогда не угнетаемую ярмом Сечь Запорожскую.

Живущая между магометанским молотом и католической наковальней, у самой пасти чудовища нещадно пожиравшего её детей, столица запорожских вольностей всегда была окутана некой мистической тайной, непроницаемой как днепрянские туманы, ибо мало кто из живших выше порогов мог похвастать, что видел её.

Будучи изначально лишь укреплённым лагерем для полудикого степового племени, а позже – засекою Байды, со временем сделалась Сечь настоящим орудием войны, по примеру древней Спарты полагая главным укреплением мужество своих обитателей. Это было то место, где культ физического совершенства был возведён в достоинство, а вельможность зависела от умения владеть оружием, удалства и наездничества.

В духовном же смысле сделалась Сечь рыцарским братством, весьма смахивающим на кочевой бранный монастырь, недаром те из его «послушников», у которых латынь и сабля не вступали в противоречие, охотно именовали себя мальтийскими кавалерами.

И уже вскоре многие мужи, среди которых не в диковинку были и гербованные, стремясь пройти науку в подлинно рыцарской школе, влеклись за пороги, ибо на ту пору пробывать некоторое время на Запорожье почиталось почти, как пройти курс военной академии. И всякая душа, жадная до приключений и войны, устремлялась на Сечь. Одни искали здесь воли и чести, другие – подвигов и приключений, третьи – добычи и славы, а уж вечная война и опасность доставляли им такую практику, которую не могло заменить самое тщательное и продолжительное мирное обучение.

Но равноправие и внешняя простота отношений, принятые в среде запорожцев, могли обмануть разве что воображение неискущённого неофита, увлечённого поэтичностью быта сечевиков и только готовящегося вступить под мрачную сень войны. Всё на Сечи, где так чтили старые обычаи, было просто, сурово и грубо, ибо всё существовало только для брани.

Немало черни из разных земель, влекомые на Запорожье байками тех, кто отродясь ниже Киева не бывал, мыслили, что на Сечи их встретят с распостёртыми объятями поборники за вековечные чаяния хлопства о царствии Христовом на земле.

Увы! Запороги, зная сомнительность бранных свойств вчерашних свинопасов и случайность их появления, в убежище никогда не отказывали, но и брататься с ними не спешили. Этот христианский народ, волею судьбы заброшенный в дикий закуток земли, признавал человеком только рыцаря, а на всё прочее смотрел с презрением. Чуждые для Сечи идеи холопского царства, не трогали суровых сердец её обитателей, ибо здесь в почёте были иные, многовековые нравы: «Жён не держать, землю не пахать, харчеваться з скотарства, звериного лову да рыбного промыслу, а больше в добычах з народов соседственных».

Посему заброда, ошарашенный поговоркою «гусак свини не товариш», бывало, оказывался на положение более тяжёлом, чем там, откуда бежал. И покуда «гусаки» эти не признавали пришельцев равноправными сечевиками (а это бывало весьма не скоро, а чаще не случалось и вовсе), на них лежала вся чёрная работа на Сечи. Никакой оплаты за это не предполагалось, кроме весьма скудного пропитания из саламаты на квасе или ухе. Всё прочее приходилось добавлять на собственные средства, приобрести которые можно было двумя способами: собственно на войне, либо подавшись наймитом на хутора заможных запорогов, на рыбные промыслы и в чумацкие обозы.

На ту пору, земли Запорожья ещё не приняли того стройного паланкового порядка, установившегося много позднее, и свободных пустош было вдоволь. Всякий запорожец, ежели не было войны, мог с дозволения куренного пойти ловить рыбу и бить зверя. А коли было чем позвенеть в кишене, можно было на удобном месте обустроить перевоз либо млын.

Год-другой, и набегал на новое сельбище самый разношерстный люд, туда же подсеялись обженившиеся и изгнанные за то из Сечи козаки, и глядишь, из нескольких выкопанных

в земле бурдюгов вырастал зимовник, а из хуторка – село. Насельники разводили скот, разбивали сенокосы и пасеки, засевали поля разным хлебом, заводили огороды, сады и прочую экономию по свойству и качеству земли. За защиту от татарвы и ляхов и за пользование плодами тучной земли обязанность их была одна – кормить запорожцев, у которых, наряду с пристрастием к воле и войне, леность и праздность были в крови.

Таковым суровым образом осуществляла Сечь естественный отбор, отделяя землепашцев и скотоводов от благородных добытчиков войны.

А так как всякая колыбель мало спустя делается тесна для растущего дитя, так и Сечь, вылезши из камышей Великого Луга, вскоре повела окрепшим своим плечом. Неспкойные дети её, не наигравшись степью, показали в море, по которому три века султаны не позволяли плавать никакому европейскому народу. Козацкая речь раздалась от Азова до Босфора, и запорожцы с донцами, дерзко сунув головы в пасть свирепому османскому льву, принялись воевать вольные божьи шляхи по Днепру и Дону в два моря.

Вскоре, уже не только желтолицые вассалы османов, но и ниже сам их суровый повелитель вынужден был признать, что, коли бы не козаки, то уже давно был бы, воздвигнут халифат, достойный наследников пророка. И не только все короли платили бы харадж султану, но даже повелитель Сибири возвратился бы под ярмо, из которого так ловко освободили шею его предки.

## Глава III

Но вскоре для Запорожья брани с татарами и Портой отодвинулись на задний план, сделавшись развлечением от праздности и приобретением средств к существованию. Нравственную же сторону всё больше начала занимать борьба с усердными слугами Христова наместника на Южной Руси, ибо городовые козаки, связанные с Низом родовой пуповиной и никогда не забывавшие, откуда они вышли, всё чаще стали не только искать утешения своим обидам на Сечи, но и находить там живой отклик.

Всё началось с того, что Литва, допреж того не пускавшая на «Землю Козаков» (как зачастую называли край этот иноземцы) других поселенцев, объединившись с Польшею, отказалась от прав на Южную Русь. Тотчас панство польское уполномочило короля раздавать «пустыни, лежащие при Днепре», католическим монастырям и заслуженным дворянам в пользование по должности или в аренду. Так, заселившие эти земли и вольные по древним статутам козаки, невольно сделавшись подданными новой отчизны, в одночасье потеряли все права, принадлежащие им по старым привилеям.

Новая «ойчизна», хотя и явилась на берега Днепра под личиною заботливой матери, на деле являла собою лютую мачеху и, подобно дракону сказочному, была о трёх головах, одну из которых осеяла корона польская, другую можно было угадать по папской тиаре, а третья украсилась пейсами и жидовскою ермолкой.

Первая голова, хотя и прикрывалась короною, но звалась магнатом и была плоть от плоти порождением древнего польского правления, состоявшего из панских междоусобий, грызни ясновельможных крулевят и забвения государственных интересов.

Издревле кичились ляхи тем, что нет во всём белом свете другой такой державы, где бы так высоко ценилась свобода мысли, совести и слова. Но свобода, достигнув в Короне высшей степени развития, уничтожила всякие границы и погубила самое себя, допустив такие стихии, которые взяли верх над всем и стали господствовать уже насильно.

Когда утвердилось в Польше избирательное правление, одною из таковых стихий и сделалось магнатство. На пёстрой шахматной доске Речи Посполитой выборный король, над головою которого домокловым мечом висело панское право на «рокош», был фигурой слабой и зависимой. Олицетворяя собою лишь только символ власти, король правил, но не властвовал, ибо корона польская не передавалась по наследству. Истинные же владыки королевства – магнаты, чьи непомерные амбиции питались безбрежными возможностями, содержали собственные армии и самочинно воевали с другими государствами.

И вот теперь эти вельможи знатных лядских и русинских родов потащились на восток делить пышный пирог благоприобретённого края. Мало погодя, половина всего городского козацтва Южной Руси очутилась во владении князей Замойских, а Вишневецкие захватили едва ли не всё Левобережье. Острожские заправляли четырьмя огромными староствами, имея восемь десятков городов, почти три тысячи сёл и местечек. Потоцким принадлежало все Нежинское староство и Кременчуг с окрестностями, а Конецпольским – почти двести городов и местечек и семь сотен сёл!

На запятках роскошных карет магнатов, как блоха на собаке, ехала на восток вечно голодная служилая шляхта. Слуги эти большею частью были такого рода, что даже сами сюзерены отзывались о них не всегда похвально: «Давай ему фалендышевую сукню, корми его жирно и не спрашивай с него никакой службы. Только и дела у него, что, убравшись пестро, на высоких каблучках скачет около девок да трубит в большой кубок с вином. Пан за стол – и слуга себе за стол, пан за борщ – а слуга за толстый кусок мяса, пан за бутылку – а слуга за другую, а коли плохо её держишь, то из рук вырвет. А когда пан из дому, то, гляди, и к жене приласкается».

А уж следом за панством потянулись разноплеменные толпы хлопства со всего королевства, привлечённые зазвучавшими на торжищах призывами к переселению и обещаниями всевозможных льгот.

Новые державцы, найдя на «пустынях» поселения чубатых туземцев, с которыми у них ещё от ордынской эпохи велись кое-какие незавершённые счёты, нимало не смутились и начали заводить те же порядки, что и в польских вотчинах. Сделавшись пожизненными владельцами поместий, по размерам равных удельным княжествам, принялись они по частям раздавать маестности в чинш мелкой шляхте, ни в чем её своеволия не ограничивая. Повсюду были посажены польские старосты, которые, держа себя завоевателями и не считаясь ни с какими обычаями вольных людей, принялись облыжно притеснять козаков, вводить панские и арендаторские поборы, запрещать варить пиво и горилку, отбирать лучшую часть от татарского дувана, охоты и рыбной ловитвы.

Пришлось козакам сильно потесниться и, глядя, как земля их делается заимкою для чужеродных дуков, лишь обескураженно почесывать то место, куда, как известно, православные склонны обращаться в трудных случаях за умом.

Другой головою дракона сделалась церковь римская, прямо объявившая козакам, что религия их – пришелец в их же дому, а истинная госпожа и хозяйка – вера католическая. Из Вечного Города посланы были в Польшу иезуиты, которые должны были приковать к ватиканской колеснице Южную Русь.

Вскоре дворянство русинское, забыв заветы предков, полностью оторвалось от народа, из которого вышло и, перенимая обычаи и весь строй польской жизни, поголовно отступило в латинство. Всё, что ни есть сколь-нибудь просвещенного, не исключая и высшего духовенства, всё уже начало не только писать по-латыни, но даже и думать.

Но для погрязших в схизме козаков и русин пришлось ляхам выдумать религиозную унию, которая по их замыслам должна была приблизить веру греческую к римской, дабы потом поглотить первую последней.

Отступившие от своей веры ренегаты, признали своим главою Папу Римского, но, зная, как миряне, слабо разбирающиеся в церковных догмах, твёрдо чтут обрядовую сторону, прибегли к лукавству, сохранив в новостворённой церкви, католической, по сути и духу, присущие православию обряды и церковно-славянский язык. Епископам залепили рты посулами мест в сенате, а униатское духовенство освободили от налогов и податей.

Всех же, унию не принявших, объявили еретиками и схизматами, творя им всяческое притеснение и беззаконие. Униатские епископы переезжали от церкви к церкви на повозках запряжённых... православными! Да не то была беда, что в повозки запрягали людей, а то, что епископы врывались в благочестивые церкви и монастыри, разгоняли молящихся, выволакивали священников из алтарей, а божьи храмы запечатывали. Непреклонных монахов ловили, били, брали в железо и бросали в темницы, а непокорившихся священников и их семьи заставляли ходить на барщину как холопов, избивая и калеча за ослушание.

Вскоре православный люд на Южной Руси уже только по имени был христианским, а были и такие, что без крещения оставались во всю жизнь. Невенчаннные повсеместно жили в грехе и распутстве, младенцы умирали без крещения, а старики – без святых таинств. Да и сами покойники вывозились как падаль, без церковного благословения, через те поганые ворота, из которых вывозят нечистоты.

Третьей головою дракона сделалось бедствие, накрывшее юг Руси подобно тьме Египетской. То притча в человечестве – польское жидовство, сочтя, что приспела пора наживаться, слетелось на козацкие палестины аки мухи на мёд. Там, где прибыточно пристраивался один, вскоре оказывались десятки и подобно прожорливой саранче начисто опустошали округу.

Заарендовав все шляхи и торги, вселенские побродяги принялись драть безбожно мыто от всякой клади, от пешего и конного и даже от милостыни, выпрошенной нищими! Как

поганки после дождя повылазили на старых козацких шляхах шинки да корчмы, ибо жида взяли монопольный откуп на табак и винокурение.

Вскоре ни один шляхтич не принимал уже важного решения, не посоветовавшись наперёд с многомудрым Соломоном в ермолке, ибо панство, не доверяя печатным новостям, больше слушало жидов, всегда непостижимо знавших все слухи и сплетни. А так как паны сами хозяйствовать были не охотчи (ибо, как известно, дворянство польское было сотворено богом для иных дел – как-то пирушек, охот, заседаний сеймиков да бряцанья саблей), то немудрено, что вскоре завелось на юге Руси арендаторство.

Негоция сия была следующего рода: сдав в посессию землю со всем, что ни есть её населявшим, пан получал твёрдую плату и мог спокойно пускать деньги на ветер, а остальное его не заботило. А враги Христовы, рассчитывая только на срок аренды, тут же облагали данями всё мёртвое и живое: каждую хату и дым, мельницу и жернов, мост и плотину, рог воловий и коровий, плод огородный и садовый, улей пчелиный и рыбий хвост. А кроме того: за вызов судящихся, за то, чтобы обжениться, а как обженятся, глядишь, тут подоспеет и за новорождённых взять. Да чего уж там «рог воловий»! За игру на дудке, свирели и скрипке! А коли козак, не дай бог, не сказавши наперёд жиду, выкуривал водки либо варил пива, то по доносу жида тотчас отправлялся вялиться на виселицу, а его жёну и детей, отобрав всякий нажиток, гнали работать на арендатора.

Надобно ли удивляться тому, что вскоре общинные кагалы сынов Израилевых прибрали к рукам более половины принадлежащих Короне земель Южной Руси?

А ляхи, ограбив храмы, пропили и пораспродали церковную утварь и убранство жидам, а поруганные церкви отдали на откуп всё тому же богоизбранному народу. Непримиимые враги христианства, хуля гойским всё христианами чтимое, тут же принялись за скверноприбытничество, переплавив чистое церковное серебро на посуду, а из риз и стихарей со знаками святых крестов, пошив исподницы своим жидовкам. Теперь при всякой тебе церковный ктитор, дабы заплатить по важности отправки, принуждён был тащиться в шинок. В столь непотребном для священнослужителя месте надобно было униженно торжиться с проклятым жидом, дабы выпросить ключи от церкви и колокольную верёвку.

Кроме того, хриstopродавцами особая была выдумана подать, похожая на дань апокалиптическую, во дни антихристовы описываемую. Перед самым великим праздником Воскресения Христова по всем знатнейшим городам и торжищам продаваемые на Пасху хлебы брались под стражу польскими урядниками. Жида, не имевшие никаких других убеждений, кроме поклонения золотому тельцу, при освящении, досматривали хлебы и помечали их, ставя свои нечистые значки углем или мелом.

Прозелит, имевший на груди особый лоскут с меткою «Униат», покупал пасху свободно, а не продавший своей веры, принуждён был платить унижительную дань.

Неудивительно, что при таком незаконном притеснении, козацкий народ на Руси, менее прочих склонный к покорности, всё чаще стал искать справедливости на Низу. И покуда под боком у Короны азартно скалила зубы Запорожская Сечь, готовая изгрызть и переварить даже каменных скифских идолов, ни ясновельможному панству, ни жидам арендаторам, ни ксендзам не спалось покойно на мягких перинах, ибо во всякую пору можно было ожидать явление незваных гостей из-за порогов, имевших обыкновение ходить на волость с красным петухом.

На ту пору Запорожье, будучи на бумаге в подсудности черкасского старосты Киевского воеводства, на деле Польше не принадлежало, и ляхи, не казавшие носа ниже Ненасытца, никакой власти над Сечью не имели, очутившись на весьма щекотливом положении охотника из известной байки, которого «пойманный» им медведь не отпускает.

Боле того, погрязшая во внутренних и внешних распрях Речь Посполитая, принуждена была не только терпеть Сечь, но и обращаться к ней за подмогою, ибо запороги, отражая набег татарских улусов, за которыми маячила османская чалма, охраняли и польские пре-

дела. Короли польские отчасти, когда приспевала нужда в козацкой силе, отчасти в пику свое-нравному панству, заигрывали с Сечью и, одаривая Низовое Войско клейнодами, заключали с запорожцами некоторые подобия союзов и соглашений, впрочем, весьма шатких и обеими сторонами часто нарушаемых.

В ответ уязвлённым панством на сеймах время от времени принимались самые разнообразные прожекты уничтожения «злокозненного племени», которое уже по одному несходству в религии, обычаях и нравах всегда представлялось Польше естественным врагом.

Долгое время планы эти откладывались как невыполнимые, покуда два польских круля, первый – Сигизмунд, а другой – Баторий, наконец-то не нашли верное средство. Жажда всеми силами привязать Южную Русь к польской метрополии и оградить её от своевольного Запорожья, нашептал им враг рода человеческого выдумать Реестр и Гетманщину.

Дав малой части городских козаков чины, уряды да ранги, заставили они-таки чуждый им народ грызть друг друга. Теперь судьба гетманских козаков была за жолд по червонцу в год и тулупу, воевать с кем прикажут, хотя бы и с низовыми своими братьями. А всякий, не попавший в реестровый полк, оказывался на положении зайца, за которым паны охотились с целью оборотить в холопа.

Козаки реестровые, чувствуя за собою естественное право местных людей, и не желая подчиняться спесивым пришельцам, незаконно нарушающим королевские указы, как-то постучались было в те блестящие чертоги власти, на вратах которых казалось, начертано: «Тут во всякую пору едят пшеничные паляницы<sup>6</sup>». Но отворились со страшным скрипом врата блестящих чертогов, и высокородные владыки надменно и брезгливо растолковали ничтоже сумнящимся дурням, что они-де, действительно, составляют часть государства польского, но такую, как ногти либо волосы в теле человека – когда оные слишком вырастают, то их стригут.

Но, как известно, что посеешь – то и пожнёшь, оттого вместо цепного пса вышел из гетманского козацтва прирученный волк. И, пожалуй, не было такого козацкого возмущения, в котором бы волк этот не клацнул зубами.

Напрасно ревностный покровитель православия князь Острожский держал пламенные речи на сеймах и писал королю и епископам, напрасно многие разумные головы предостерегали, что все эти Наливайки, Подковы да Павлюки – это лишь только предтечи великих бед, а потрясение всех основ и великое кровопролитие грядут впереди.

Всё было втуне. Магнаты и шляхта с жидами арендаторами, одни под сенью короны и католического креста, другие под знаком моголендавида, с удручающей глумливостью грабили и насиловали обеспамятевший край, и козацкие выступления следовали уже одно за другим. В древний Краков наносило ветром с Днепра зловещий, едкий дух непокорности, и когда на Сечи кровавые разбойники церкви Христовой запедали на клиросе псалмы, дух степной крепости заставлял вздрагивать спесивых владык.

А покуда сорокатрёхлетний Зиновий-Богдан Хмельницкий будет хозяйствовать на своём хуторе в Суботове да исправно исправлять сотницкий уряд в Чигиринском полку. И ни у кого ещё и в помыслах не было, какого пива наварит из своего хмеля сотник ляхам через десять лет!

---

<sup>6</sup> *Паляниця* (укр. *паляниця*) – каравай хлеба.

## Глава IV

Верховые шли по-татарски, седло к седлу, толкаясь мокрыми боками коней и распугивая отяжелевших сытых стрепетов, целыми стаями заволокло взлетающих прямо из-под копыт. На рысях, приправленный терпкой полынной пылью, ветер ещё обдувал, на шаге же, словно в баню въезжали.

Что же это были за люди?

Искушённое око по высоким бараньим шапкам да по отсутствию прапорцев на пиках тотчас бы угадало, кто потревожил Великую Степь. То были люди из рассеявшегося, потом по всему белому свету племени вольных мужей брани, искусных мореходов и степовых наездников, прозванные московитом «днепровским черкасом».

То были запороги.

Другой час один из них поднимался в стременах и оглядывал округу, и тогда становилось видно, что запорожцы, употреблявшие на оружие и коней всё своё богатство, снаряжены были в достатке. И хотя не видно было на них ни лат, ни панцирей, ни другого тяжёлого и дорогого доспеха, инде блеснувшая в лучах заходящего солнца кольчуга говорила о том, что век белого, честного оружия ещё не весь вышел. В подбитых сукном кожаных нагалищах были приторочены грозные самопалы, имевшие такие просторные стволы, что могли сделать в человеке дыру величиною с кулак. Из-за поясов выказывали свои чеканные рукояти пистолы, а поперёд сёдел покоились в ольстрах их долгоствольные сородичи. Неразлучные брат с сестрою – кинжал и сабля, висели по своим сторонам. У многих, по старому ордынскому заведению, за спиною виднелись татарские сагайдаки и даже щиты. Всё было приторочено так, дабы, будучи под рукою, однако, не брнчало и не звякало.

Некоторые запорожцы, с их огрубелыми на марсовой службе чувствами, сморенные усталостью и шумом трав, дремали прямо в сёдлах, намотав на руку повод. И только ежели который начинал слишком крениться, то ехавший рядом товарищ его немилосердно тыкал ему ножами сабли в бок.

В челе полка, под бунчуком, на богато осёдланном десятитысячном анатолийском красавце аргамеке покачивался в седле козацкий полковник. Всё, решительно всё: и чистокровный конь, и властная повадка всадника, и тяжёлая золотая серьга, вдетая в ухо в память о знатной гульбе у стен Царьграда, и персидская кольчуга, и даже изумляющее тонкостью кузнечной работы стремяно – всё говорило за то, что это полковник, хотя и наказной, походный, но тотчас видно – из знатной сечевой старшины, которая в ту эпоху, под влиянием Гетманщины уже начинала слагаться в сословность.

Оберучь от полковника ехал полковой чин, в обиходе прозываемый атаманией.

Под горбоносым смуглым и сухим, как азовский лещ, есаулом, несмотря на усталость, всё время взыгрывал вороной как бес жеребец. Да и сам есаул с виду был таков, будто за пазухой злого духа держал.

На широкой, как запечье, спине рослого гнедого подольца курганом громоздился кряжистый сотник. Омываясь горячим потом, исполин то и дело снимал выдровую кабардинку и обтирал обриту голову и дебелию выю с чёрным, как спина столетнего днепрянского сома, гамалыком.

Рядом с ним, на золотисто-рыжем угорском иноходце, в щеголеватой посадке, баюкался другой сотник в лихо сбитой на затылок дерзкой мегерке и всем своим беспечным видом являл полную противоположность своему товарищу.

Куда же в ту сумрачную эпоху так спешили оружные мужи? К женщинам ли или на убийство, к любви или погибели, на брашна либо на тризну? Нет, эти степовые скитальцы, похоже,

не так давно избегнув старухи с косью, молодиц с косами тем паче не искали, а что ждало их впереди – пир или поминки, знал про то один только бог всевидец.

Многое бы бросились прямо в очи всё тому же искущённому зраку, доведись ему узреть сих всадников. Немалое число перевязанных голов прямо говорило о том, что козаки шли на военном походе и не так давно побывали в жарком деле. Но пышное, чепурное убранство старшины и даже простых козаков тому противоречило, ибо всякий знал, что воевать запороги более привычны в подлом платье. К тому же низовые на походе не любили бахвалиться на всю степь дорогим оружием, а, напротив, по своему заведению, бывало притравливали все блестящие части рассолом.

Картинный, напоказ, кровник под полковником и множество заводных навьюченных коней, привязанных чомбурами за хвосты упряжных, заставляли думать о том, не козацкая ли то едет легация? Но зачем тогда не было среди них джур? Отчего не видно было и козаков в почтенных летах, которых обыкновенно брали в посольство за мудрость и опытный совет? И откуда взялись пораненные?

Нет, ежели это и была легация, то послы были того рода, которого боязливые мирные насельники стараются не поминать на ночь глядя. А послал их к ляхам старый запорожский атаман Дмитро Томашевич-Гўня, наказав передать латинянам свинцового толокна.

...Двенадцать недель тому назад Гўня, поднятый козаками на regiment, подхватил выпавшую из рук гетмана Остряницы булаву, которая так несчастливо переходила из рук в руки последние несколько лет. Этой неудачной для козаков войне с «медвежьей лапой» суждено было закончиться у устья Старца – старого днепровского русла в гирле Сулы, в тех самых окопах, где когда-то уже бились они с черкасским старостой.

В тесно обложенном ляхами козацком стане, узнав о поражении полковника Филоненко, который должен был привести с другого берега Днепра припасы и помощь, к недостатку прибавились раздоры. Одни поклялись на оружии биться до последнего вздоха, другие полагали разумным сдаться на милость победителя, и все искали способа выбраться.

Вскоре часть козацкой старшины вероломно сговорила просить пощады у Потоцкого, посулив взамен голову Гўни. Ночью Томашевич, собрав вокруг себя тех, кто не захотел целовать руку, которую не удалось отрубить, с боем пробился из окружения и, не желая привести за собой на Запорожье ляхов, решил уходить в пределы донских казаков.

Далече растянулся полторатысячный козацкий табор. Конные ехали в челе и позади, имея в середине влекомые понурыми волами возы с небогатым войсковым скарбом. Отгоняя хвостами надоедливых мух, изнемогая от жары и тяжко нося боками, утомлённые волы нехотя переставляли ноги, роняя с высунутых языков тягучие нити слюны. Раненые козаки, не пожелавшие сдаться на милость победителям, покотом лежали на возах. Долгие вереницы страшной запорожской пехоты двигались по бокам в глубоком чутком молчании. Пахло коломазью, воловьим и конским потом, подгнивающей человеческой плотью, да ещё тем особым, тяжким духом бранной неудачи, который не можно описать словами, но который всегда незримо витает в поражённом стане и гнетёт дух воина. Не видно было развёрнутых хоругвей, неслышно было ни звуков сурьм, ни боя котлов, молча и сурово шли козаки, потупившись и держась за возы. Донеслось уже до них, как подло сделалось с обманутыми товарищами и побратимами Остряницы, доставленными в Варшаву...

Просто повешенные почитали себя уже счастливыми, ибо прочие казни были куда как затейливее: одни были растерзаны железными когтями, похожими на медвежьи лапы, другие колесованы – переломав руки и ноги, из них тянули по колесу жилы. Третьих насквозь пронзали железными спицами и живыми поднимали на колы. Других прибивали гвоздями к облитым смолой доскам и сжигали на медленном огне, а иных четвертовали. Отрубленные члены человеческие в назидание развезены были по всей Гетманщине и развешаны на сваях по городам...

Пятого дня после короткого военного совета перед табором вышел Шамай и взобравшись на поставленную на возу бочку, поклонившись на все стороны выкликнул:

«Льцари<sup>7</sup> православные! Который хочет за веру Христову быть набитым на палю<sup>8</sup>, который готов принять всякие муки за Святой Крест, у которого не покрылось ржой сердце, который не страшится погибели – выходи наперёд!»! И немалое число славных степовых рыцарей из остатков разрозненных куреней вышло вперёд, вызвавшись справить пышные поминки по братским душам.

Набрался охотников целый полк, и Гуня, велев взять Шамая гетманский бунчук, отдал им самых лучших коней и всё прочее, что надобно для широкой козацкой гульбы. Теперь от полковника много зависело, успеет ли козацкий табор перекинуться на донскую сторону либо поедут запорожцы гулять на тот пир, где «пшекающие» хозяева, усадив гостей на кол, примутся угощать похлёбкою из горящей смолы.

Того же дня козаки, попрощавшись по обычаю, разошлись в разные стороны. Кош потянулся на Дон, а изображавший всё козацкое войско полк Шамая поворотил назад и, неожиданно показавшись у самого польского лагеря, наделал переполоху и увёл погоню в сторону.

С того дня пустился полковник на все хитрости скифской войны. Но уже не один раз бывалым степовым волкам становилось тесно в широком поле, и немалому числу, в игре на живот либо погибель выпала решка, ибо дразня и кусая неприятеля, козаки не должны были далеко уходить от погони.

Но сегодня, с полдня, от зимовника Кордон пошли запорожцы, не останавливаясь, пока не скрылись в густых травах Дикого Поля. Даже когда отвесно падающие лучи солнца начали палить нестерпимо, и земля немилосердно пекла ноги через подошвы сапог, запороги шли так скоро, что пена, точно хлопья снега, летела с боков коней, и останавливались только для того, чтобы обтерев их, переменить под седлом.

---

<sup>7</sup> *Льцари (укр. лицарі) – рыцари.*

<sup>8</sup> *Палья (укр. палля) – заострённый кол, применяемый для казни.*

## Глава V

Меж тем потянуло свежестью, и появились докучливые слепни и оводы, которых не было в высокой сухой степи. Равнина, накренившись, пошла вниз, вдали высунулись точно из-под земли макушки дерев, и показался дозорец, махавший вздетой на пику шапкой. Почувявшие воду кони без понукания прибавили шаг, отмахиваясь хвостами от заедающих кровососов, но полковник велел придержать их, давая остыть до водопоя.

Не минуло и четверти часа, как перед козаками богатой турецкой шалью развернулась просторная поляна, полого сбегавшая к тихой и ровной воде обмелевшей к исходу лета степовой речки. Растущие по самому берегу ивы окунали свои роскошные косы в воду, а в сыроватой тени верб копила манящая спасительная прохлада, тем паче желанная после томительного пекла степи.

Шамай остановил коня, и густой дух едкого лошадиного пота тяжело шибанул в нос. Козаки терпеливо ждали в сёдлах. В тишине было слышно, как беспокойно храпят и грызут удила кони. Переглянувшись со старшиною, полковник кивнул. Тотчас дюжий сотник указал толстым своим пальцем на козака, затем на высокую десятиаршинную в обхвате вербу, и запорожец прямо с коня проворно на неё взобрался.

Меж тем есаул, кликнув одного и другого козака, отослал их к разъездам, идущим на известном расстоянии в челе и позади полка. Передав на словах, что ночевать станут здесь, есаул наказал одному разъезду стать на могиле, что должна быть в получасе хода за рекою, а другому скрытно сесть в степи подле сакмы полка.

Оба молодца, не мешкая, переменили коней и разъехались в разные стороны. Один поскакал назад, а другой, бросился с конём в реку и, подняв целые тучи бриллиантовых брызг, перемахнул её вброд. Дав удалиться дозорцам на значительное расстояние, Шамай махнул рукою:

– З сёдел!

Спешиваясь, запорожцы вязали разгорячённых коней к деревьям, ослабляли подпруги и вынимали из конских ртов опостылевшее железо. Утомлённые длительным переходом, кони напряженно потягивались, и, глубоко вдыхая, вздрагивали. Приметив, что некоторые, невзирая на сёдла и вьюки, пытаются повалиться на траве, есаул прикрикнул:

– Чи<sup>9</sup> у вас очи повывлазылы<sup>10</sup>, панове<sup>11</sup>? Не дозволяйте, не дозволяйте им лягать<sup>12</sup>!

Разминая одеревеневшие ноги, козаки собирались вокруг сидевшей в сёдлах старшины, которая уподобилась островку в море жарких плеч, крутых подбородков и обнажившихся голов. Всё здесь стеснившееся, несмотря на почтительно снятые шапки, было и характер, и сила, и воля, а спокойная уверенность придавала им ту особенную горделивую осанку, свойственную людям, родившимся с оружием в руках. Это был народ всё сплошь крепкий, закалённый битвами, бывалые и зрелые мужи в расцвете своих лет, страстные охотники до всякого рода приключений и войны.

<sup>9</sup> Чи (укр. чи (аб'я, хіба) – или.

<sup>10</sup> Повывлазылы (укр. повилазили) – повывлазили.

<sup>11</sup> Панове (укр. панове) – приблизительно с середины XVI века, под влиянием Речи Посполитой, на Южной Руси, а затем и на Запорожье начинает приобретать распространение обращение «пан». В ту эпоху в Речи Посполитой титул «пан» был прочно связан с обозначением лица дворянского, шляхетного сословия, и этим словом выражали уважение по отношению к знатым и богатым людям, представителям власти. К слову «пан» в таком употреблении могло добавляться «милостивый», «ласкавый» и т. п. Для обращения к мужчине, использовалась форма «пане», для обращения к сыну пана – «паничу», для обращения к группе лиц использовалась слово «панове». Запорожцы, именуя друг друга «пан», «панове», тем самым подчёркивали, что они относятся к благородному, воинскому сословию.

<sup>12</sup> Лягать (укр. лягати) – ложиться.

Уже по одной долготе чуприн, ухватившись за которые, бог, по преданиям, поднимал на небо души погибших козаков, можно было судить, что тут были сплошь тёртые сечевые калачи. Бороды у всех были выбриты, лишь на верхней губе оставлено было лучшее украшение козака – долгий ус. За высокими скулами диковатых, точно вырезанных из потемневшей бронзы ликов, читалась азиатская хитрость, что вкупе с тускло посверкивавшими в ушах серьгами наводило на мысль, что многие степовые племена сильно обозначили своё присутствие в этой породе.

По рубцам, белевшим на спечённой солнцем коже, можно было прочесть историю всего белого оружия того века, ибо козацкая голова была подобна свитку пергамента, на котором саблей всякий раз писала новая рука. Почитай у каждого была какая-либо недостача в членах: у того было выбито око, у другого не доставало пальцев, а нескольких погостивших у ляхов соратников Сулимы можно было отличить по отсутствию ушей, отрезанных любезными хозяевами.

Всякому человеку, вставшему под хоругви бога войны, хорошо ведомо, что ничто на свете не развивает так сильно религиозного чувства, как постоянное хождение под смертью. В подтверждении этого с чёрных вый козаков свисали на гайтанах видимые свидетельства принадлежности к церкви Христовой – кресты, носимые ими на ту пору наперсно. То, пожалуй, была единственная, помимо сабли, ценность в их среде, пропивать которую почиталось за тяжкий грех и бесчестье. Кресты были известного рода: серебряные, оловянные, медные, бронзовые, кипарисовые и такой величины, что теперь, пожалуй, и не у всякого архиерея встретишь. Ясные символы христианского крещения напоминали о том, что сие воинство принадлежит тому христоролюбивому ордену, братия которого и проявление самой козацкой удали мыслила не иначе, как причастие Небесному Духу, сознательно заключая свою натуру под смертную сень войны.

Полковник каждого знал по многу лет, и для всякого у него было припасено заветное слово. Он любил всех их как братьев, любил за их духовитость и даже за строптивость – любишь ведь не того, с которым хочешь в рай, а того, с кем хотя бы и в пекло. Упрямыцы всегда были ему по душе, он и коней-то выбирал норовистых, считая, что положиться можно только лишь на тех, кто необуздан, а покорные да смиренные – никчёмные люди. Необузданны же те, кто воодушевлён великим помыслом, вбирающим в себя все земные дела. Это неправда, что воинов роднит пролитая кровь – она лишь оставляет зарубку на душе, а воистину объединяют общие помыслы. Человеку даётся только одна жизнь, одно лишь тело, одна душа, и смысл жизни может быть только один. Тот, в котором этого нет – пустоцвет. Сер он, пуст и скучен, и тело с душою скреплены у него единственно лишь сухожилиями. Такоговго люда, бездумно и бессмысленно ползающего червями по дну сущего – пропасть, героев же, напротив, всегда наперечёт.

Все стоящие теперь вокруг него всю свою жизнь провели в битвах и походах, закаливших и ожесточивших их сердца и развивших какую-то дикую гордость души. Они поручились друг другу кровной клятвой в вечной верности святым узам товарищества и готовы были за то хотя бы и море шапками вычерпать. Каждый из них был удал на свой лад и, сохраняя первобытную суровость и бесчувственность своих предков, мало дорожил жизнью. Кровожадность и свирепость, вообще свойственные той, положившей на них суровый свой знак эпохе, были присущи им, равно как и всем племенам, почитающим войну и грабёж главным занятием своей жизни. С ними непросто было ладить в мирной жизни, но зато легко в бранной. Свободные воины, необузданные по своей степовой натуре, слившись в побратимстве, как камни в крепостной стене, тем не менее, были они каждый наособицу, и каждая отдельная натура начертана была угловато и резко. Не скоро подберёшь и приставишь одну к другой, но уж коли подберёшь – монолитом встанет стена!

Одни поражали своей образованностью, и при случае могли щегольнуть и Овидием, другие, напротив, оставались неграмотными во всю жизнь, ибо, будучи от природы даровитыми и восприимчивыми, были сильно расположены чувствовать духоту в стенах школы и при первой же удобной okazji меняли букварь на саблю.

Дети своего сурового века, они, не раздумывая, брали и чужой нажиток и самую жизнь, по-своему осуществляя древнее понятие о предназначении рыцарской нации и полагая, что мир принадлежит тому, у кого рука твёрже. В степь и море шли не только и не столько за добычей, но за славою, ибо грабить идёт слабый, а сильный – завоёвывать мир. Они не воровали, а брали с боя, а это испокон веков дело благородных мужей брани, ибо, как известно, бог на то и сотворил супостата, дабы было с кого брать дуван.

Но горько ошибался тот, кто полагал, что ими владеют корысть и алчность. Таковые люди промеж них, обыкновенно, надолго не задерживались. Презрение к чужому, равно и к своему добру, быстро приводило в отчаянье попавших в их среду сребролюбцев. По благородному запорожскому заведению многие из них не имели ничего, кроме сабли да креста за пазухой, ибо любая толика благ мирских, маня множеством искусов, вяжет многими же путями, а истый сечевик, подобно чернецу, должен быть вольным от земного...

Шамай зорко оглядел тесные ряды и, насупившись, пожевал губами:

– Ось що<sup>13</sup>, панове... Коней, як<sup>14</sup> охолонуть, ставить на водопой. Оглядеть их добре<sup>15</sup>, вычистить и пустить на попас. Выкормить им овёс остатный. Коноводам очей з коней не спускать, не то з самих шкуры спущу! У ничь<sup>16</sup>, каждому козаку держать по одному коню пид седлом...

Как сделалось видно из первых, несколько суровых распоряжений полковника, все они касались исключительно лошадей, и на то были веские причины: в степи допрежь всадника всегда конь, ибо человек в степи без коня подобен нагому на морозе.

– Оглядеть всю зброю<sup>17</sup>, особливо стрельбу, як должно. Пан есаул, що в Панском Куте взяли, дувань по закону. Панове сотники, назначайте которых сами знаете в коноводы и в дозоры. У ничь надобно выставить ще<sup>18</sup> по дозору, на полмили<sup>19</sup> вгору<sup>20</sup> и вниз по воде. Пораненых в коноводы и дозоры не ставить. Пан Корсак, раны им глянь. Кухари, запалыть огня, готовить вечерю. Да дыму щоб<sup>21</sup> я не бачив<sup>22</sup>! Управиться дотемна, и костры гасить. Дозорцам вечерять прежде всих и выехать на замену швидче<sup>23</sup>...

Полковник выдержал значительную паузу.

– Ну так шо, панове, ступайте вже<sup>24</sup>...

Запорожцы покрылись шапками и, сдержанно загомонив, пошли к коням. Одни принялись обгирать лошадям потемневшие мокрые бока пучками травы и выбирать из грив и хвостов цепкие репейники, другие развьючивали и рассёдывали остывших, заводили в реку и ставили на водопой.

<sup>13</sup> *Ось що* (укр. *ось що*) – вот что.

<sup>14</sup> *Як* (укр. *як*) – как

<sup>15</sup> *Добре* (укр. *добре*) – хорошо, так как следует.

<sup>16</sup> *Ничь* (укр. *ніч*) – ночь.

<sup>17</sup> *Зброю* (укр. *зброю*) – оружие.

<sup>18</sup> *Ще* (укр. *ще*) – ещё, дополнительно, кроме того.

<sup>19</sup> *На полмили* – имеется ввиду т.н. «польская миля», которая в описываемую эпоху составляла около пяти с половиной километров.

<sup>20</sup> *Вгору* (укр. *вгору*) – вверх.

<sup>21</sup> *Щоб* (укр. *щоб*) – чтобы

<sup>22</sup> *Бачив* (укр. *бачив*) – видел.

<sup>23</sup> *Швидче* (укр. *швидче*) – скорее, быстрее.

<sup>24</sup> *Вже* (укр. *вже*) – уже.

Даже по такому заурядному на ту пору действию, как разбитие походного коша в дикой степи, было видно, что здесь собралось не сборище оружного сброда, а закалённое в горниле многих войн, отменно обученное воинство, с жестокою, пусть хотя бы и на время похода, дисциплиною, возглавляемое опытнейшими офицерами.

Покуда кухари, достав из выюков обёрнутые в мокрые холсты бараньи четверти, пристраивали их на кострах, напоившие коней запорожцы осматривали оружие, купались, стирали гречишной золой рубахи, били в складках платья неизменных спутников войны – вшей, брили головы и бороды.

Шамай, передав своих лошадей коноводам, неверною походкой человека весь день проведшего в седле, обошёл весь стан и всюду сунул свой нос.

Узрев кривого Хому, по прозванию Далэко-Ба́чу<sup>25</sup>, ведавшего походным запасом горилки, Шамай поманил его к себе:

– Ходи до меня, Хома...

Запорожец Хома на Сечи был фигурой весьма приметною, но слава его была особого, чрезвычайно редкого в среде низовых гуляк рода. Дело в том, что некоторые запорожцы, будучи весьма набожными христианами, когда не было войны либо поста, обнаруживали наклонности, несколько отдававшие язычеством. Выражалось это главным образом в почитании Бахуса, причём некоторые послушники приносили жертвы покровителю виноделия с таким рвением, что вся добыча от похода: и конь и справа, и всё что ни есть на молодце – всё отправлялось куда следует, а именно к известным епископам всевесёлого божества – шинкарям. Хома, по ретивой молодой дури не избежавший пагубного влияния язычества, как-то, курнув горилки до полного изумления, в самом бесчестном виде – имея на себе только крест да рубаху, попал в татарскую неволю и был продан в рабство.

Вскоре, погрев кости на плавучей каторге и потеряв глаз, выбитый батоном галерного пристава, явственно начал козак остатным оком различать гремящего ключами апостола Петра.

В смертный час проклял Хома бражничество и, вырвав клочок из посивевшей чуприны, зарёкся, положив себе, что, коли доведётся вырваться на волю, сроду больше не возьмёт хмельного в рот, а половину дувана до самой смерти будет жертвовать на сечевую церкву Покрова Богородицы.

Видно до бога дошли страстные молитвы Хома, ибо чёрствая судьба неожиданно повернулась к козаку своим сдобным, румяным боком, и был он счастливо освобождён запорожцами в море. С той поры каждый, худо-бедно прожитый день, воспринимал Хома, как жид – нежданный прибиток, и вот уже много лет непреклонно придерживался зарока.

Полковник хмуро оглядел с ног до головы одноглазого, как циклоп, козацкого виночерпия.

– Хома, всим до вечери, для подкрепления духу наточи<sup>26</sup> по чарци<sup>27</sup> горилки...

Последнее распоряжение полковника, нарочно сказанное самым незначительным голосом, вызвало известное оживление среди находившихся поблизости кошевых товарищей.

Учув это, Шамай насупил бровь и, припустив в голос железа, погрозил Хоме плетью, носившей за своё степовое происхождение меткое прозвище:

– Да наперёд тебе кажу, пидчаший натолийський<sup>28</sup>! Ось бачиш цю нагайку?! По единой чарци!

<sup>25</sup> Далэко-Ба́чу (укр. *далеко ба́чу*) – далеко вижу. Здесь, в кличке козака, в присущей запорожцам манере обыгран его физический недостаток – отсутствие одного глаза.

<sup>26</sup> Наточи́ (укр. *наточи́*) – здесь, в значении, налей, нацеди.

<sup>27</sup> По ча́рци (укр. *по ча́рці*) – по чарке.

<sup>28</sup> Пидча́ший нато́лийський – подчаший анатолийский (см. примечания).

Бывшие поблизости запорожцы, никогда не упускающие возможности позубоскалить, услышав такое многообещающее начало, с готовностью взяли за пояса.

Но Шамай так резко поворотился к заготовавшим козакам, что песок цвиркнул под кованым чистым серебром каблуком:

– Я добре ведаю, панове, якый<sup>29</sup> собачий норов завёлся промеж некоторых! Багато<sup>30</sup> делалось теперь таких, которые, только продрав балуцкы<sup>31</sup>, ще и рыло не умыли и «Отче наш» богови не сказали, а вже чарцу шукають<sup>32</sup>. Я этого не люблю, вы знаете! За двух сотников Налывайки чулы<sup>33</sup>? Ось нехай<sup>34</sup> вам пан есаул расскаже...

Запорожцы, всегда имевшие сильную тягу послушать подобные байки, которые для многих частично составляли и самую образованность, действительно обратились к есаулу, который тут же, в тени вербы, с помощью каких-то снадобий склеивал запорожцу Прокопию Дудаку разбитую голову.

– Отчего ж не рассказать... – есаул хладнокровно начал заматывать тряпицу, выпустив, поверх слипшуюся от крови полуаршинную чуприну. – Було<sup>35</sup> у Северина Налывайки в войске два сотника – други неразлучные. Одын звався Татáрынэць, а другый<sup>36</sup>, не для смеху сказать, хотя бы и по прозванию... Дурень! Зашли вони<sup>37</sup> як-то со своими сотнями в маетку князя Радзивила<sup>38</sup>. Тамошний рындарь<sup>39</sup>, не то з пэрэляку<sup>40</sup>, не то з умыслом, выкатил им несколько бочек варенухи<sup>41</sup>... Они и напылысь<sup>42</sup> доценту<sup>43</sup>. А у ничь напав на них гетьман Жовкевський<sup>44</sup>. Об ту пору козаки булы для бою совсем не годни<sup>45</sup>... Да чего греха таить! мало который мог и в стремено чобит вдить! Но, сив<sup>46</sup> по хатам на запоры, отбивались бардзо<sup>47</sup> добре, так що гетьман в ярости велел спалыть<sup>48</sup> всех, разом<sup>49</sup> з селищем...

В полной тишине есаул закончил перевязывать пораненого, что-то пошептал, подул тому на голову и поплевал через плечо.

– Немало як пеньчь ста<sup>50</sup> душ заживо сгорилы<sup>51</sup>, тому що оба два сотника булы дурни<sup>52</sup>... хотя бы один из них и звався Татáрынцем, – сурово закончил за есаула Шамай.

<sup>29</sup> Якый (укр. який) – какой.

<sup>30</sup> Багато (укр. багато) – много.

<sup>31</sup> Балуцкы (местн.) – глаза.

<sup>32</sup> Шукають (укр. шукають) – ищут.

<sup>33</sup> Чулы (укр. чули) – слышали.

<sup>34</sup> Нехай (укр. нехай) – пусть.

<sup>35</sup> Було (укр. було) – было.

<sup>36</sup> Другый (укр. другий) – другой.

<sup>37</sup> Вони (укр. вони) – они.

<sup>38</sup> Януш Радзивилл (1612—1655 гг.) – крупный государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.

<sup>39</sup> Рындарь (искаж.) – арендатор.

<sup>40</sup> Пэрэляк (укр. переляк) – испуг.

<sup>41</sup> Варену́ха (укр. варену́ха) – алкогольный напиток, распространенный на Южной Руси с XVI века. Состоит из горилки или самогона, мёда, яблок, груш, слив, вишен и пряностей.

<sup>42</sup> Напылысь (укр. напились) – напились.

<sup>43</sup> Доце́нту (укр. доце́нту) – дотла, сполна, совсем и т. п.

<sup>44</sup> Станислав Жолкевский (1547—1620 гг.) – польский полководец начала XVII века, польный и великий гетман и канцлер великий коронный (см. примечания).

<sup>45</sup> Булы не годни (укр. були не годні) – были не способные.

<sup>46</sup> Сив (укр. сів) – сев.

<sup>47</sup> Ба́рдзо (польск. bárdzo) – очень.

<sup>48</sup> Спалыть (укр. спалити) – сжечь.

<sup>49</sup> Ра́зом (укр. разом) – вместе, одновременно.

<sup>50</sup> Пеньчь ста (искаж. польск. pięćset) – пятьсот.

<sup>51</sup> Згорілы (укр. згоріли) – сгорели.

<sup>52</sup> Дурни (укр. дурні) – дураки, дурные.

Сгрудившиеся вокруг Корсака запороги, несколько обескураженные такой развязкою, выказавшей в самом невыгодном свете пьянство на походе, вместо того чтобы прямо обратиться к вождённому существу вопроса, теперь принуждены были выдержать изрядную паузу.

Топчась как застоявшиеся жеребцы, откашливаясь и осуждающе качая головами, они вчуже наблюдали, как Хома уже принялся отмеривать всем по чарке из находившихся под его опекой нескольких изрядных мехов пошитых из козловых шкур.

Подошедший снимал шапку и, зажавши её по-козацки под мышкой, бережно принимал деревянный, со шербатыми краями михайлик. Перекрестившись, со словами: «Во вики викив!»<sup>53</sup> козак выпивал свою порцию, на что Хома неизменно отвечал: «Слава Богу»!

При этом всяк выказывал свойства своей натуры: один, блаженно прижмурившись цедил горилку из жита, точно дорогую мальвазию, другой единым духом опрокидывал чарку в могучую глотку и, выдохнув, заглядывал потом с некоторым сожалением в пустую посудину, на что Хома тотчас закидывал уду:

– Пан Тóрба, не пий до дна!

– Га? Чогось?! – заглывал наживку простоватый запорожец.

– На дни<sup>54</sup> дурень сыдыть<sup>55</sup>! – тут-же подсекал Далёко-Бáчу.

И пока озадаченный пан Тóрба, открывши рот и скребя в потылице искал достойного ответа, бойкий Хома, не переставая зубоскалить, уже отмеривал следующему.

По своему обыкновению, находился записной остряк из какого-нибудь хотя бы и Шкуринского куреня, который, выпив и степенно разглаживая ус, наклонялся к виночерпию и, косясь на окружающих, вкрадчиво вопрошал:

– Слухай, Хома...

При этом все стоявшие неподалёку начинали вострить уши.

– А чогось<sup>56</sup> ты соби не налываешь? Чи ты хворый? Або не нашей, греческой веры? И святыне угодники пили горилку! только бусурмане да жида не пьют горилки!

Хома закладывал за ухо жёсткую, словно свитую из конского волоса чуприну и не заставлял себя ждать:

– Не можно, пан Клымзá! не можно! Мне малжонка<sup>57</sup> пыть горилки не дозволяет!

Тут уж всё товарищество, не исключая и Хому, разражалось самым здоровым хохотом, невзирая на то, что слышало эту шутку, быть может, двадцатый раз и наперёд зная, что никакой жены у «натолийського пидчашия» отродясь не водилось.

...День меж тем клонился на покой. Садящееся солнце уже забрызгало степь кровью, и пожар вечерней зари отразился в водах реки. Нежный вечер словно ткался из дорогого аксамита, напиваясь духом полевого осота, чабреца, мяты, степовой полыни, тмина, душицы, дикого цикория, тысячелистника, богородской травы и ещё бог весть знает чего.

Полковник, сделав всё, что должно и, не нашедши более к чему придраться, перевёл наконец дух. Найдя под раскидистой ивой свои вьюки и сёдла, брошенные для просушки потниками вверх, принялся он разоблачаться.

Снял с себя саблю, кинжал, рожок для табака, пороховницу, натруску и лядунку. Вынул из-за обложенного серебряными и медными бляхами боевого пояса пару чеканных турецких пистолетов и полковничий пернач. Скинул сапоги и, распустив другой, узорчатый пояс, кликнул ближнего козака помочь освободиться от кольчуги. Под бранным железом оказалась тол-

<sup>53</sup> «Во вики викив!» (укр. во віки віків) – Во веки веков (устар.) – до скончания века, навечно, на веки вечные. Здесь в значении «пусть так будет навечно».

<sup>54</sup> На дни (укр. на дні) – на дне.

<sup>55</sup> Сыдыть (укр. сидіти) – сидит.

<sup>56</sup> Чогось (укр. чогось) – чего.

<sup>57</sup> Малжонка (польск. małżonka) – жена, супруга.

стая стёганая подкольчужная поддевка без единого сухого места, а уж под нею – сорочка, которая тоже словно в воде лежала.

Оставивши из платья на себе одни просторные шаровары, атаман пошёл искать своего коня, с наслаждением ступая по траве босыми ногами.

Спутанные и стреноженные кони паслись неподалёку в густом, никогда не знавшем косы травостое. Одни выбирали ровное место с обильною травяной подстилкой и, предварительно осмотрев и обнюхав его, валялись с боку на бок, вознаграждая себя за долгий переход, другие, по одной им ведомой лошадиной привязанности, разбивались на пары и старались встать так, чтобы хвостами отгонять докучливых кровососов с голов и шей друг друга. Юркие воробьи сновали целыми стаями меж ними и, беспрепятственно разгуливая по самым их спинам, собирали дань в виде власоедов и клещей.

Шамай издали свистнул, и тут же верный Гайдук ответил ржанием, отделившись от других лошадей. Сняв путы, полковник, смятая прибрежный лопушатник, завёл коня в воду по самое брюхо, выбрав незамутнённое место. Аргмак долго стоял неподвижно, вздрагивая от наслаждения всей шкурой, в то время как прохладные струи ласкали его искусанный овдами беззащитный и нежный живот. Избирая струю посвежее, конь медленно и с наслаждением цедил воду через губы, а напившись, долго ещё не хотел выходить, играя, мутя воду и разбивая копытами собственное отражение, покуда Шамай не подвязал ему к морде торбу с овсом.

Пока конь, потряхивая головою, хрустко жёвал, полковник растёр его насухо и всего ощупал самым тщательным образом. Умное животное стояло покойно, послушно давая ноги. После этого в ход была пущена щётка со скребницею и влажный кусок сукна, а уж напоследок чистою тряпицею, смоченной в воде, полковник заботливо протёр коню глаза и ноздри, так что Гайдук довольно фыркнул ему в самое лицо. Потрепав преданного аргмака за выгнутую шею, Шамай пожелал ему здравия и отвёл к коноводам. Затем, за отсутствием джур, пришлось полковнику то же самое проделать с двумя другими своими конями.

Покончив с лошадьми, принялся Шамай за оружие. Усевшись на накрытую попоной кульбаку, допреж всего взял он в руки свою любимицу – саблю, которая, будучи редким творение наивысшего оружейного мастерства, имела такую удивительную историю, что заслуживает отдельного рассказа.

...Начало для будущего меча положил потомственный коваль из древней касты железных дел мастеров, спустившейся в Пенджаб с Гималайских гор. Простояв сутки у печи, отлил он по одному ему ведомой пропорции руды и древесного угля булатную заготовку самого высокого свойства и вскоре весьма прибыльно сбыл купцам.

Уже побелела голова и у внука того коваля, а железо в своём первозданном виде всё ещё кочевало по белому свету. Ещё не сделавшись благородным оружием, слиток многократно обагрился кровью, ибо этот булат ценился столь дорого, что в самой Индии за выкованный из него клинок давали двух слонов! Но индийские мастера с таким старанием прятали свои секреты, что, в конце концов, потеряли их сами. И только за несколько лет до того, как сабля попала к Шамая, стесняемый нуждой, оружейник Мехмет из Карабели, что под Измиром, решился ковать клинок из родовой ценности – слитка булата, перешедшего к нему от отца и деда.

Затворившись с сыном-подмастерьем в подвале, мастер там же, не видя божьего света, ел, спал, творил намаз и ковал. В полумраке, только по цвету определяя нужную степень жара заготовки, раз за разом изгибал он её и терпеливо проковывал. Одна оплошность, и лист булата, цены необыкновенной, мог превратиться в кусок железа, годный разве что на напильники.

Не мало спустя, определил Мехмет, чтоковка закончена. Известное время потребовалось на закалку клинка. Это действие, так же творившееся каждым оружейником скрытно от посторонних глаз, всегда было окружено таинством. Сведущие люди с жаром утверждали, что закаливать саблю нужно непременно в моче трёхлетнего барана. Такого необходимо

было три дня не кормить, с четвёртого – кормить только папоротником, а спустя два дня собрать его мочу. Другие резонно возражали что, напротив, охлаждать и закаливать клинки надобно в телах только что заколотых свиньи, барана либо телёнка, дабы булат остывал вместе с трупом. Третьими, со знанием дела, упоминались колдовство, роса, молоко кормящей сына матери, моча рыжего мальчика, расплавленный жир, родниковая вода и мокрый холст.

Немало времени забрала и заточка. Здесь досужие знатоки тоже могли поведать, что истые мастера шлифуют клинок... собственными пальцами! Так ли то было – теперь вряд ли представится возможным узнать доподлинно, тем паче что по большей части свои секреты старые оружейники унесли с собою в могилу.

Но всё на белом свете рано или поздно имеет свой конец. Настал и для Мехмета день истины, когда он, сильно исхудавший и заросший, вынес булат на суд самых уважаемых мастеров своего цеха. Подслеповато щурясь на солнце, оружейник с поклоном передал завернутый в холстину клинок старосте оружейного цеха.

На ту пору в Азии ценность булата определяли по цвету клинка и узору, тесно соединяя вязь узоров с прочностью. По мнению старых азиатских мастеров, обязательным условием наивысших сортов булата являлся сложный спутанный узор, величина которого также служила признаком, принимаемым во внимание.

Аллах Великий и Милосердный услышал молитвы Мехмета! Седобородый и невозмутимый уста-баши оружейного цеха только изумлённо цокнул языком, разглядывая на голубоватом клинке глубокие и ровные «сорок ступеней лестницы Магомеда» – узор, который из многих булатных ценился превыше всех.

Первым испытанием для клинка сделалась проверка «на голос». Мустафа Гололобий несильно ударил железным прутком по подвешенному булату. Чистый, высокий и необыкновенно долгий звон наполнил сердце Мехмета ликованием. Так долго и протяжно могут звенеть лишь колокола в храмах гяуров!

Потом, по знаку уста-баши, признанный силач Али Большой, шутя ломавший подковы, взяв клинок, наступил на один его конец ногою, и начал медленно загигать. Правильно откованный и закалённый клинок не мог быть согнут так, чтобы сломиться либо утратить упругость. Сжалось сердце Мехмета, но его булат легко согнувшись в дугу, так же легко распрямился и, зазвенев как горный хрусталь, принял прежнюю форму.

Напоследок, приобретший уверенное расположение духа Мехмет, обмотав для удобства верхний край клинка тряпицей, играючи рассёк подброшенный вверх, невесомый как воздух газовый платок. И уж совсем раздухарившись, мастер без видимых усилий порубил пригоршню железных гвоздей.

Снова пошло благородное железо по рукам, и снова восхищённо зацокали языками оружейники – не оставили гвозди на клинке ни единой зазубрины! Долго ещё не расходились мастера, обсуждая на все лады редкое оружие и толкуя о его ценности. Но минуло ещё несколько месяцев кропотливой и тонкой работы золотых дел мастера, скорняка, плотника и резчика по кости, прежде чем голый клинок превратился в красавицу карабелу. Прослезился молчаливый оружейник в день разлуки, передавая бесценную саблю заказчику, ибо один раз в жизни удалось ему выковать не оружие, но само воплощение боевого духа.

То была поистине сказочная сабля! Светлый, голубоватый её клинок, лёгкий, прочный и упругий надолго сохранял остроту лезвия и почти не нуждался в правке. Деревянные ножны были обтянуты дорогою, с тиснением кожей и обложены чистым, с чернью серебром, сплошь покрытым глубоким причудливым узором из переплетающихся листьев, стеблей и цветущих головок подсолнуха. Рукоять из рыбьего зуба, окованную серебряными пластинами, венчала орлиная голова.

На одной стороне пяты, рядом с именем оружейника и несколькими магическими квадратами, славила Аллаха золотая арабская вязь. Немало времени и сил потратил когда-то восточ-

ный мастер, насекая молитву и заклятие, но не помог бедух своему хозяину. Краса и гордость янычарского войска, чорбаджи первой почётной орты, задрал в небо окровавленную бороду и выщерив зубы, ещё судорожно загребал ногами землю, когда вынул полковник из его руки саблю.

На другой стороне пяты теперь виднелась всечка «Вера в Бозе, сила в руце». Неохотно подавался восточный булат под резцом христианского мастера, но упрямый Шамай, непременно захотел «покрестить» бусурменское оружие...

Бормоча себе под нос что-то вроде: «Той не козак, у которого погана<sup>58</sup> зброя», Шамай придирчиво оглядел саблю и, проверив на ногте заточку, повесил на сук. Осмотрел и вычистил всю стрельбу, проверил заряды и порох, смазал скукожившиеся от жары ремешки смальцем. Тщательно почистил кольчугу и, обтерев её насухо, бережно завернул в холстину и прибрал в перемётную суму, ибо утро обещало росу. Напоследок проверил сёдла и вычистил трензельное железо.

Неспешная мужская работа всегда приводила его в ровное расположение духа. Натоптав и раскурив люльку, полковник с наслаждением пыхнул из обкуреного жерла целым облаком дыма, окутавшись им на манер осаждаемой крепости.

Что же это был за человек?

---

<sup>58</sup> Пога́на (укр. пога́на) – плохая, не годная.

## Глава VI

Был полковник собою доброй презенции и крепкого сложения, в расцвете своих лет, в той благословенной поре, когда прожитые лета дают мудрость, но ещё не отбирают силу. Исполненный достоинством облик, бывший для уродзого дворянина врождённым свойством натуры, в муже из затерявшейся за порогами Сечи выдавал природную привычку к воле и оружию, а властные манеры – многолетнюю повадку распоряжаться чужими жизнями.

Его смуглый, как у всякого степняка лик мог бы показаться даже приятным, ежели бы каждая черта его не дышала жестокой суровостью. Под пышным, свисающим на самую грудь усом, змеились узкие злые губы. Высокое и просторное чело, казалось, собрало в своих морщинах все козацкие недоли. Насупленная бровь с тяжёлым веком таила прищур очей, в которых навеки застыла тяжкая тайная дума. Долгая подбрита чуприна, густо перевитая серебряными нитями, вьющейся прядью сбегала до самого плеча, закрывая сабельный рубец, располовинивший бровь и завершавший свой страшный бег далеко на щеке. Голова его не раз пробовалась на прочность всяким железом, и немало сыскивалось охотников отделить её от тела, да только вот где они теперь? Жизнь часто была к нему люта, но и он редко поворачивался к ней незащищённым боком.

...Был Шамай доброго козацкого рода. Батьке его, всю жизнь прожившему в суровом целомудрии своего сердца на Запорожье, посудьбилось дожить до преклонных годин, что в среде сечевиков было скорее исключением. Таковые заслуженные ветераны коротали остаток своего века при куренях на Сечи либо удалялись в монастыри отмаливать грехи бранной молодости, а не то вольно селились по хуторам.

Когда козак почувал свой срок, то, отказав немало добра на сечевую церкву, честно простился с товариществом, закатив на прощание знатную гульбу. Через неделю, провожаемый всем оплакивающим потерю рыцарством, абшитованный запорожец, едва держась в седле, удалился на свой хутор. Там вскоре глянувшаяся вдовица через положенный богом срок принесла ему сына. Когда крестили дитя, отец, по старому запорожскому заведению, сотворил закваску для козацкого духу, подсыпав в купель пороху.

Но низовую вольницу козак не забыл и, не желая навек сгинуть подле бабьего подола, положил себе раз в год навещать своих товарищей и проводить на Сечи месяц-другой.

Едва дитя отстало от люльки, как он принялся брать его с собою, с малолетства приучая к коню и оружию. Хлопчик ещё и тетивы не мог натянуть, а уже часами стоял с вытянутою рукою, держа палку, которая со временем становилась всё тяжелее.

Наука сгодилась нежданно скоро, ибо детство Шамая оказалось коротким, как засапожный нож, и оборвалось в тот злокозненный день, когда хутор их был побит татарами, а сам он, успев взять стрелюю своего первого человека, попал в неволю.

Казалось, судьба его была, переменяв веру, сделаться жестоким наемником без роду и племени и воевать, с кем султан прикажет, хотя бы и со своим народом. Но не тут-то было. В янычары он не попал после того, как прокусил руку ходже – наставнику, приставленному к детям для первоначального магометанского обучения.

Диковатого степового волчонка перепродавали несколько раз, и нигде хозяева не могли найти ему должного применения. Строптивец отказывался принимать веру Магомета, портил и ломал всё, что попадало в его руки, и несколько раз пытался бежать. Били его нещадно, но наука не шла впрок. Спасся он вместе с запорожским есаулом Корсаком, с которым судьба свела его в неволе, но дал себе зарок возвратиться и вернуть магометанам долги сторицей.

Едва отрастив чуприну, молодой козак, исполняя клятву, так сильно обозначил своё присутствие в тех краях, где когда-то был рабом, что вскоре по всей округности Чёрного моря не осталось поселения, которое не почувствовало бы его посещения. В какие-то несколько

лет он сделался неперменным участником любой экспедиции, опустошавшей берега Крыма, Малой Азии и Румелии. Как только Шамай слышал что где-то собираются воевать врагов христианства, тот час он был там. Чёрным морем беспокойный запорожец не ограничился и, соединившись в устье Волги с донскими и яицкими казаками, побывал на морях Хвалынском и Рыбном; а через Круглое и Белое моря выбирался в Средиземноморье и даже, по слухам, достигал Белой Аравии.

Многие его товарищи за широкую козацкую гульбу украсили стены султанского дворца в Истанбуле своими засоленными головами. Пленников частью обращали в галерных рабов, частью казнили. Козаков давили слонами, разрывали галерами на части, закапывали живьём и сжигали в чайках, а султан, развлекаясь, стрелял по ним из лука. Шамай же, как заговорённый, всегда возвращался на Сечь невредимый и с добычей, но, едва возвратившись, тотчас искал нового похода.

Не удивительно, что низовое братство, страшно суеверное и весьма чувствительное к славе и добыче, скоро обратило внимание на удачливого козака и подняло его на атаманство, ибо на Сечи, никогда не испытывавшей недостачи в отчаянных удалцах, умели ценить трезвомыслящих самородков, способных стройно повести в бой все тридцать восемь куреней.

...Началось всё с того, что однажды беспокойному Шамая прискучило мирное безделье на Сечи. Взяв намерение «полюбоваться на красоты Царь-города», собрал он вокруг себя самых бесшабашных молодцев, прельщённых жадной богатой добычи, страстью к далеким походам и заманчивостью самого предприятия. Задумав такое богоугодное дело, Шамай, ничтоже сумняшеся, обратился прямо к кошевому.

В тот год кошевым был запорожец Лесько по прозванию Малдабай, козак степенный, в летах и с склонностью к сытой полноте. Уже наперёд упреждённый старшиною о баламутившем воду запорожце принял он молодого козака хмуру.

В прежнюю пору и Лесько был жвавым козаком, одна лишь водилась за запорожцем охулка – крепко любил Малдабай добро. А, как известно, где с молодых лет прореха, там под старость дыра. И пропал козак...

Надобно сказать, что ещё смолоду тайный предмет его помышлений составляла гетманская служба. Видел Лесько вчуже, какими щегольскими жупанами обзаводилась перенимавшая польские обычаи гетманская старшина, какую роскошь заводили сотники и полковники на своих хуторах и какими вельможами держали себя с простыми козаками.

И подался бы козак на гетманскую службу, и верно дослужился бы бог весть до каких чинов и рангов, но удержали его на Запорожье несколько удачных, в рассуждении дувана, походов. Справедливо рассудил Лесько, что гетманский бунчук, не более как журавль в небе, а хабар от набегов – верно синица в руках.

С течением времени, выйдя в сечевые старшины, Малдабай о Гетманщине более не помышлял, найдя, что человеку с головою и на Запорожье можно приобрести и достаток, и значение. Подержавшись за атаманскую булаву, Лесько как-то поостыл, поостепенился, оброс жирком заможности и почти растерял все свои добрые свойства. Вместо того выучился он носить подбитую соболями делию с золотым галуном и, важно потупив голову рассуждать значительно о любом предмете: о посольстве ли в Крым речь или об отскочившей от чобота подмётке. Уже крепко привязан был он всеми помыслами к бесхитростным житейским утехам, что обещали согреть грядущую старость, а именно: пасеке с пчёлами, мельнице и рыбному пруду на хуторе, да тучным табунам, гуртам и отарам в степи.

Долгими зимними вечерами, когда за стенами завывала вьюга, лёжа на турецком ковре и посасывая люльку в жарко протопленной хате кошевого, грезилось ему, замирая в сладостной истоме, как добре будет боковать на хуторе, плодить пчелу да сидеть с удой погожим летним вечером на берегу пруда. Да мало ли что можно выдумать, чтобы сыто и неторопливо

доживать на этом свете, коли у тебя закопан чималый котёл с золотыми цехинами! Грех признаться, но в грёзах являлась ему даже сдобная бабёнка (весьма смазливая вдовица, живущая на его хлебах и призревающая за хозяйством), и тогда Лесько, которого от греховных мечтаний бросало в пот, встряхивал головою совершенно как конь и, откашлявшись, произносил значительно: «Гхм! Однако»!

Одним словом, мыслил пан кошевой лишь о том, как досидеть спокойно на атаманстве положенный срок. А кроме того, совсем недавно польский король писал на Сечь, что ввиду того, что теперь у него с турецким султаном мир, то гетман Запорожского Низового Войска не должен допускать козаков на море ни под каким видом, и что он, король, крепко надеется на благоразумие ясновельможного пана гетмана.

В этом послании Лесько особенно польстило, что король назвал кошевого атамана гетманом, и теперь всякий разговор Малдабáй сводил на то, что: «Круль<sup>59</sup>! чуете?! сам круль!» с ним, с Лесько, советовался и величал его «ясновельможным паном гетманом».

Оттого кошевой, по укоренившейся привычке придав своему лику то выражение застывшей важности, которое можно узреть разве только у покойников, в нескольких скупых выражениях представил Шамáю, сколь несходно его предприятие, изъяснив, что чаек заготовлено малое число, провианта, стрельбы и всяких прочих потребных вещей на Сечи для похода недостача, и самих молодцев на такое великое дело сейчас малоллюдно. Тем паче... (тут и Шамáю припала возможность выслушать историю про то, как сам польский король просил «ясновельможного пана гетмана» не ходить на море).

Возможно, что благоразумие и взяло бы в Шамáе верх, ибо он, откланявшись, вышел было в сени. Но тут кошевой допустил непоправимую небрежность, известную запамятовав поговорку, что человек, который не владеет своим языком, может потерять его вместе с головою. Едва за молодым запорожцем затворилась дверь, Лесько, поворотившись к бывшему тут же войсковому писарю, отпустил о молодом козаке что-то крайне пренебрежительное, навроде: «ТЬфу! Куда кинь з копытóm – туда и корова з рогом! Молоко ще на губах не обсохло, а туда ж, на поход вин поведе»!

На его беду, Шамáй услышал обидное слово, вспыхнул и, с трудом сдержавшись, положил себе проучить старого дурня. С этого мгновения мысль о походе отступила на задний план, и душу его непреклонно занимали лишь планы мести кошевому.

Вскоре многие запорожцы, прогулявшие и заложившие шинкарям всё своё добро, тут и там начали поговаривать, что кошевой, дескать, обабился и, сделавшись ганчиркою, избегает опасностей войны, а, кроме того, больно много стал слушать ляхов.

Недовольные быстро сколотили партию войны. Как нарочно, тут же сыскалась и самая подходящая парсуна возглавить её, а именно – Шамáй. Не обошлось и без бочки крепкой просняной паленки, которая оказалась в Шамáевом курене как бы сама собою.

Хмельные и беспокойные головы, прихватив бочку, пошли кучами из куреня в курень и сбили с панталыку многих, хотя бы и разумных. Перечисляя всё, что знали дурного о кошевом, депутаты прямо объявляли всем, что не желают, чтобы их вожаком оставался не дорожащий войсковою честью тухтий. Как водится, некстати всплыли и прежние обиды при дележе дувана, и табуны, и отары и даже смазливая вдовица на хуторе.

Сечь взволновалась и загудела, как гудят встревоженные пчелы на пасеке. Неурочно была созвана Войсковая Рада, но благоразумные и трезвые пересилили, и Лесько, не без труда, но удержал булаву кошевого.

Однако хмельные и неуступчивые козаки решительно отказались от Малдабáя и, разгорячившись, пригрозили посадить в воду уже всю сечевую старшину.

---

<sup>59</sup> Круль (польск. *król*) – король.

Часть запорогов, взявши вместо войсковых литавров куренные котлы, хватили по ним поленьями, другие силою захватив старшин, снова поволокли их на майдан. Третьи, уже изрядно хмельные, завладев атаманской булавою, принялись разыскивать Шамая.

Дело начинало принимать скверный оборот. Старшина, зная буйный нрав братии, не на шутку обеспокоилась, как бы её панование не завершилось на дне Днепра с полными пазухами песка. Да и Шамай, совсем не желавший поднимать всей Сечи, сидел на запорах в своём курене, ибо находиться на майдане сделалось не безопасно.

Но это не спасло его от раздухарившейся толпы. Сечевики, выбивши дверь, вскочили в курень. Подбадривая своего ставленника кулаками под микитки, запороги с криками: «Шо ты сыдышь тут, собака!? Иды закон брать, скурвый сын<sup>60</sup>! Ты теперь наш батько<sup>61</sup>, и будешь паном над нами!», – выволокли Шамая на майдан, где без лишних околичностей и церемоний в виде троекратного отказа и посыпания головы землёю, всучили булаву.

Но противная сторона и слышать не хотела о перемене кошевого. Закипел жаркий спор, за спором последовала ссора, затрещали чубы. Драка быстро переросла в ужасное избиение сторонников Малдабая, которые, не выдержав, побежали и затворились в церкви, где уже служилась вечерня. Но разъярённые преследователи вскочили и в церкву. Священник, видя такое смятенье, снял с себя епитрахиль и, не дослужив, ушел, а сечевой иеромонах в гнев запечатал и самую церкву.

Унять страсти выступили было куренные атаманы, увещевая сперва словами, а когда слова не помогли, прибегнув к палкам. Но вошедшие в раж запороги поколотили и куренных. Прежняя старшина при виде такой великой шкоды разбежалась и попряталась, куда попало, а Малдабай, переодевшись монахом и подвязав себе бороду, спасся бегством и больше уж о нём на Сечи не слыхали. Всё сбылось над ним ровно по промыслу Шамая, и соболья делия кошевого надолго пережила его ничтожное имя.

Воистину, неисповедимы пути господни! Начал свой день человек могущественным властелином над христианским войском, державшим в страхе Истанбул, Бахчисарай и Краков, принимающим послов от иноземных держав и на равных говорящим с коронованными особами. А закончил – гонимую и презираемую всеми собакой.

Меж тем, подогретые паленкой страсти не унимались, и запорожская сиромашня пустилась на грабеж торговых и ремесленных людей, живущих в предместье Сечи. Пользуясь всеобщей безурядицей, козаки напали на предместье, прозываемое на татарский манер Гасан-Баша, и начали разбивать шинки и лавки. Опамятавшись, базарные люди, как могли, принялись защищать свое добро и, вооружившись, кто самопалом, кто просто дубьём встали у ворот, ведших из Сечи в предместье, пытаясь остановить разбушевавшихся запорогов.

Когда дело дошло до смертоубийства, с церковной колокольни дали залп пушки, ударил набат, и появился Шамай с атаманской булавою в руке. За ним шёл весь сечевой чин, тридцать восемь куренных атаманов, почтенные сивоусые старики и иеромонах со всем сечевым церковным причетом. Действуя частью увещеваниями, частью палками они загнали хмельных сечевиков за ограду и с великим трудом водворили спокойствие.

Козаки, почувствовав настоящую, твёрдую руку, наконец, угомонились. При этом, характерный след атаманской булавы ещё довольно долго можно было различать на лбах некоторых сечевиков. А ведь это был тот самый их товарищ Шамай, который только час тому назад на майдане смиренно говорил, что почитает себя лишь самым младшим и незначительным членом Козацкого Войска и, с охотою будет всегда следовать его благоразумным советам!

---

<sup>60</sup> *Скурвый сын* (искаж. польск. *skurwýsyn*) – *сукрин сын, незаконнорожденный. Кирва* (польск. *kirwa*) – в буквальном переводе – «кривая», а в брашном значении – *развратная, распутная женщина*.

<sup>61</sup> *Батько* (укр. *батько*) – на Южной Руси и на Запорожье форма обращения «*батько*» использовалась при обращении к мужчине старшего возраста, либо при желании выразить к нему особое уважение, почтение. Дети, обращаясь к отцу, как правило, использовали форму обращения «*тата*».

На другой день, чем свет, когда хмельные козацкие головы ещё спали кучами, как попало, новый кошевой, переколотив со старшиною все винные бочки, созвал раду и объявил смолить чайки. С этой минуты на Сечи кончились всякие перекоры и брожения, ибо если во время недолгой мирной жизни братия часто навязывала старшине свою волю, то во время войны, кошевой брал в руки неограниченную власть и, делаясь господарем живота и смерти каждого, имел право единолично выносить даже смертные приговоры.

Вскоре, спустив белый прапор и против обыкновения оставив на Сечи вместо себя наказного атамана, молодой кошевой, взяв в помощь господ бога, привёл запорогов прямо в Босфор. Несколько тысяч удальцов высадились в устье Золотого Рога и дали понюхать пороху Царьграду так, что задрожали его стены. Козаки, ввиду султанской столицы хладнокровно грабили её окрестности и, мигая огнями походных костров в самые окна сераля, задали небывалого страху султану и всем цареградским обывателям.

...Странный то был человек! Вся жизнь его была одна нескончаемая битва, и не все из них были праведны. Злые языки поговаривали, что будто бы по молодым ретивым летам, искавший везде добычи и славы Шамай, в смутное время Русского царства воевал с Сагайдачным православную Москву, после чего год жил, не знаясь с людьми, в береговых пещерах Днепра, отмаливая пролитую кровь единоверцев и спасаясь о Христе.

Своего первого человека взял он в тринадцать лет, а с той поры уж и счёт потерял. Природный степняк и матёрый черноморский лев, умелец войны, из тех, кто на вечной охоте, он не отличался постоянством, равно как и Сечь Запорожская никогда им не отличалась. Внутренние свойства его натуры состояли из причудливой, взаимоисключающей смеси добродетелей и пороков, что всегда, впрочем, свойственно людям, почитающим войну и набег главным ремеслом своей жизни. Мятежным его духом овладевали то дикие страсти, то жажда поисков правды, рука тянулась к мечу, а душа искала спасения в вере, которую пронес он через всю свою жизнь, как непогашенную вербную свечу...

Полковник незаметно задремал, подперев свесившуюся голову перевитой чёрными жилами рукою. В другой руке ещё тихо курилась люлька...

Вдруг в самое ухо ему словно кто-то страшно гаркнул: «Лыхо<sup>62</sup>, пан Данило! Татарва!» Тотчас явственно увидел он и своего батьку Данилу, седлавшего нетерпеливого Буяна, и рыдающую мать, которая, держась за стремя, долго бежала рядом с конём и всё пыталась целовать чёрную от загара руку отца...

Шамай содрогнулся всем телом, выронил люльку и, выхватив саблю, вскочил. Побывавший волею Морфея в последнем дне своего детства, долго ещё ворочал он вокруг бессмысленными, ничего не понимающими очами.

Поняв, что это был лишь только сон, полковник, обтерев пот со лба, устало опустился на седло. Убрав саблю и выколотив дрожащими руками люльку, он пошёл к воде и долго плескал прохладной влагой в самое лицо, смывая навязчивое марево сна. Вернув себе таким образом некоторую бодрость, полковник спросил есаула.

Скоро выяснилось, что есаул Корсак пропал, и куда он делся никто, не исключая обоих сотников, не знает.

Новость была дурная, ибо пропажа человека в степи добра не сулила. Ежели козак ушёл самочинно, беглеца, не мешкая, следовало догнать, допросить с пристрастием и судить на месте, а по походному положению наказание за это полагалось одно – смерть.

Коли пропавшего похитили, то тем паче, по неписанному закону степи надобно было тотчас отряжать погоню, и дело было не столько и не сколько в ужасной участи пленника,

---

<sup>62</sup> Лыхо (укр. ліхо) – беда.

но и в том, сумеет ли тот под пытками не развязать языка. В обоих случаях степовые суровые законы требовали удваивать меры предосторожности, а не то и менять место ночлега.

Однако ничего этого не случилось, и только сотник Панас по прозвищу Чгун, подошедши к полковнику и скребя в потылице мрачно прогудел:

– А враг його, Корсаку знае, куда вин згынув<sup>63</sup>... – сотник набожно перекрестился. – Кони його на месте...

– А Бабай?

– И нехрестя голмозого<sup>64</sup> чортма<sup>65</sup>, – Панас снова перекрестился.

Столь дикий ответ, однако, не смутил полковника, и он лишь невозмутимо кивнул головой. Здесь должно объяснить, кто таков был загадочный есаул Корсак и что делал некрещённый татарин в козацком стане.

Дело в том, что Корсак был запорожским чаклуном, а татарин Бабай – его служкой.

---

<sup>63</sup> *Враг його знае* (укр. *враг його знає*) – чёрт его знает. В описываемую эпоху, православные, из суеверий, избегали произносить слова «чёрт», «бес», «сатана» и т.п., заменяя их, например, словом «враг» («сатана – враг рода человеческого»). *Згынув* (укр. *згінув*) – сгинул, пропал.

<sup>64</sup> *Голмозый* (укр. *голомозий*) – гололобий, бритоголовый. Здесь в значении «некрещённый татарин». Татар называли голомозыми из-за того, что в описываемую эпоху все татары мужского пола ходили бритоголовыми, т.к. это считалось у мусульман признаком чистоплотности.

<sup>65</sup> *Чортма* (укр. *чортма*) – здесь в значении «нету».

## Глава VII

В народе прозвание этих козацких чародеев было химородники либо характерники, татары же называли их урус-шайтанами.

В людях этих витал дух гораздо более древний, чем христианство. Языческая вера угасла уже почти полностью, но потомки древних волхвов, со временем уничтоженные цивилизацией, всё же в ту эпоху были на Южной Руси таким же привычным явлением, как придорожный шинок. Их далёкие суровые наставники ещё, когда в звериных шкурах ютились по земляным норам и недоступным пещерам, в совершенстве овладели искусством перевоплощения и растворения в природе, и, лишь много спустя, Византия, посредством наложения креста на лоб, отторгла от них породу человеков.

На Сечи даже в среде безжённых запорогов выделялись они тем, что чурались женщин во всю жизнь, ибо «потерять голову» от любви могли в прямом, а не в переносном смысле. Женщин они на дух не переносили, и, как видно, то была плата за силу и знание. Оттого не имея своих детей, наступников искали они повсюду и загодя, умудряясь различить будущего чародея ещё в утробе матери, ибо колдун, которому подошёл срок, не мог покинуть земную юдоль, не передав своего дара. Только совершив древний обряд посвящения и оставив ненужную телесную оболочку в могиле, устремлялся он в мир духов. Но и после этого козаки, суеверные как всякие люди живущие большей частью в дикой природе, в некотором отрыве от источников христианской веры, долго ещё не осмеливались селиться вблизи тех мест, где обретался чаклун.

Погубить химородника, по рассказам досужих людей, можно было, лишь попав серебряной пулей либо пуговицей с крестом в левое око. Но наверняка угомонить чародея можно было, разве только вбив в сердце осиновый кол и положив в могилу лицом вниз, дабы не восстал он из мёртвых.

Но, как ни странно, сами запорожские характерники себя нечистью не только не полагали а, напротив, по слухам, бывало, вступали с ней в борьбу. Старые запорожцы рассказывали, что когда-то давно, не поделив что-то с ведьмами, козацкие чародеи извели их на запорожских землях подчистую.

С малолетства Корсак ведал, что народился наособицу – дух его не был скован позднейшими напластованиями человеческих условностей. Всевидящее око вечности когда-то воззрилось на него и с той поры уже не сводило с него пристального взора. Он уж точно был не из этого века, но и не из того, что катился навстречу. Страшные озарения часто посещали его, и бессмертие жутко просвечивало через его стылый зрак. Таинственная музыка сакральных сфер была ему доступна и, глядя на небо, он часто различал там кривые письмена грядущих невзгод.

Оттого застигнуть есаула врасплох было так же просто, как поймать на голый крючок столетнего пескаря, тем паче что настоящая сила чародея была не в умении владеть изрядно любым оружием (ибо кого этим удивить на Сечи!), а в даре предвидения, в умении отводить глаз и напускать морок. Знал он замолвления от всякой раны, от пули и сабли, от опоя коня и укушения змеи. Говорили, что доступны ему спрятанные и заговоренные клады, что способен он разгонять облака и вызывать грозу, оборачиваться в зверей, переливаться в речку, и даже ставить на ноги мертвецов!

Имя его всегда было покрыто дымкой таинственности. Кем был Корсак на самом деле и откуда пришёл на Сечь – то теперь никто уже и не помнил, да и сам он об этом рассказывал всегда разное. Злые языки поговаривали, что он не иначе как одминок – ребёнок, с божьего попушения подменённый в детстве ведьмою.

На Сечи есаул жил, казалось, вечно, и угадать наверняка его лета было невозможно. Умерший тому как лет десять назад столетний запорожец дед Путряк как-то рассказал с бож-

бою, что когда он пятнадцатилетним молодиком пришёл на Сечь, Корсак уже был самым старым в своём Пластуновском курене.

Но возраста своего есаул, казалось, не чуял. Время и бедствия также мало действовали на его наружность, как и на каменного скифского истукана, торчащего на кургане посеред степи. Хворать он тоже сроду не хворал, а только с летами, как бы усыхал помаленьку.

Иногда, хватив чарку-другую у козацкого костра, он вдруг начинал рассказывать о некогда прославленных и давно сгинувших атаманах, о страшных колдунах которые водились в прежние времена, о зарытых и утопленных кладах. И, лишь услышав чьё-нибудь изумлённое: «Тю<sup>66!</sup>» и узрев вокруг широко распахнутые очи и раскрытые рты, спохватывался и замолкал.

Где жил есаул, откуда появлялся и куда уходил, никто не знал. На Сечи химородник надолго задерживаться не любил и появлялся неизменно либо перед большой бедой, либо перед войною, словно волк, чуя большую кровь на дальности расстояния. Но заканчивался поход, и есаул, взяв свою долю, снова пропадал. Поговаривали, что живёт колдун в берлоге с медведицей, среди непроходимых заболоченных плавней одного из островов Великого Луга, и ходу туда нет никакой христианской душе, один лишь нечистый дух прячется там от колокольного звона.

В козацком чародее не ощущалось никакого страха, ни божьего, ни смертного, ни человеческого, зато самого его одинаково боялись и люди и звери.

Животные всем естественном своей натуры угадывали в Корсаке природного хищника.

Собаки позволяли себе лаять на него только с почтительного расстояния. Самый свирепый и неукротимый пёс при его приближении, жалобно скуля, покорно ложился на спину. Кони испуганно ржали, прями ушами и, сбиваясь в кучу, поворачивались к нему задом, норвя накинуть ногами.

Выбирая себе коней, меринов Корсак не признавал и держал в заводе только жеребцов. Трёх своих нынешних угорских коней есаул сам принял от кобылицы, саморучно выкормил и заездил. Не став их холостить и обучив разным хитрым штукам, есаул из мирных травоядных сделал выносливых хищников. Диковатые жеребцы не подпускали к себе никого, кроме Корсака, но и с ним свыклись с трудом: когда есаул подходил к ним своей мягкой звериной походкой, жеребцы прижимали уши, тревожно храпели и передёргивали всей кожей. И лишь одни кошки, которым, как известно, доступен потусторонний мир, льнули к есаулу.

Друзей, в людском понимании этого слова, у старого химородника не было, ибо вокруг него, словно бы невидимая крепостная стена стояла, через которую никому не было ходу. От есаула, как от холодной звёзды в беспредельном ночном небе, ощутимо веяло неземным холодом. Одинокий вечный скиталец, неизвестно где и рождённый...

Средь людей было у него лишь три постоянные привязанности. Одна из них – запорожец Богуслав по прозванию Лях либо Корсачёнок, которого он ещё малым дитём выкрал чуть ли не в Польше и привёз на Сечь, объявив своим сыновцем. По гулявшим смутно слухам, мать Богуслава была красивой и ветреной польскою шляхтянкой и нагуляла дитя от козака.

Есаул сам растил чадо, сам ставил ему руку и разум, и со временем из небожа вышел козак на загляденье: и разумен был изрядно, и грамоту знал, и презрение к смерти ставил выше прочих доблестей, ни единожды не сплеховав ни в степи, ни на море.

Другая привязанность Корсака была совсем иного рода – не то раб, не то джура, страховодного обличья татарин Хамраз по прозванию Баба́й, которого есаул держал при себе ещё бог весть с какой стародавней поры. Взял он нехристя с давнего набега на крымский юрт и с тех пор везде таскал за собою.

---

<sup>66</sup> Тю (укр. тю) – универсальное восклицание, возглас. Может выражать самые разные аспекты эмоционального восприятия мира: удивление, недоумение, разочарование и т. д.

Татарчонок не то уже был немым от рождения, то ли сам химородник лишил его языка (к чему сильно склонялись запорожцы), но Хамраз уже и состарился на службе у чародея, а речи человеческой от него сроду не слыхали. Невольник ясыря в перемене веры Корсак не стал, а со временем и вовсе даровал волю. И хотя Баба́й волен был вернуться в свой улус, он как верный и преданный пёс остался при есауле, привязавшись к своему господину и, как видно, посвящённый им в какие-то тайны. Тот, в свою очередь, весьма дорожил преданным немым.

Как-то раз, на Святую Троицу, будучи по какой-то надобности в Чигирине, есаул послал Хамраза на торжище. Там, на майдане, Баба́й и подвернулся некстати под руку подгулявшим гетманским козакам чигиринского полка.

Напрасно немой отчаянными знаками пытался объяснить, чей он слуга, хмельные и горячие головы, приняв его за лазутчика, решили вешать подозренного татарина тут же, на рынке.

Бог весь как почуявший это Корсак, как вихорь, примчался на торжище на своём бешеном жеребце. Потоптав горою наваленные дыни и арбузы, опрокинув несколько возов и яток с товаром, есаул, страшно бранясь и действуя одною нагайкою, отбил немого.

Связываться с запорожским есаулом никому не достало охоты, ибо зацепив даже одного сечевика можно было навлечь на себя гнев не только его куреня, но и всей, скорой на расправу Сечи. Оттого козаки, ввиду открывшихся новых обстоятельств, разом потеряли интерес к татарину и, как ни в чём не бывало, пошли бродить дальше, почёсывая те места, по которым пришла плеть.

И всё бы ничего, и возможно случай этот скоро бы позабылся, да только уже к вечеру все участники потехи, мучаясь животами, не успевали подвязывать очкур на портках.

Несчастные перепробовали все известные средства от постыдной хворобы: и горилку, густо приправленную порохом, и настойку корня калгана, и козье сало, и даже особое снадобье, состоящее из толчённых в порошок куриных желудочков – ничего не помогало.

Ввиду особого случая был привлечён даже чигиринский цирюльник, отворявший кровь и ставивший пиявок шляхтичам и полковой старшине. Но и жид, выучившийся в Гданьске у немца, оказался бессилён против «медвежьей болезни» и присоветовал идти к старой колдунье, про которую ходила молва, что умеет лечить все на свете хвори.

Старуха, жившая в убежавшей за край Чигирина прескверной хате, оказалась вылитой попелюхой: её впалые щёки переходили в острый, усеянный бородавками и пучками седых волос, подбородок, почти соприкасавшийся с вислым крючковатым носом, а довершал картину одиноко торчавший в провалившемся рту жёлтый клык.

Только взглянув бельмастым оком на бережно державшихся за животы просителей, ведьма криво оскалилась и велела искать чаклуна, которого они шибко прогневали третьего дня.

К их счастью Корсак об эту пору ещё был в Чигирине, и недужные явились к нему на поклон, приложив каждый к повинной голове, что следует. Есаул против ожиданий выслушал дурней благосклонно, мягко пожурил и, велев тому же Баба́ю принять подношения, отпустил с миром. Козаки поблагодарили за науку, и на том их позорный недуг прошёл сам собою. Слух о происшествии с чигиринцами быстро облетел Заднепровье и, как водится, со временем оброс небылицами и прибавлениями.

Другая, почти отеческая привязанность, была у есаула к Шамая́ю. Судьба-злодейка свела их в невольничьей яме, а угодил туда неуязвимый дотолле чародей, нарушив свои неписанные законы и потеряв голову по той самой известной поговорке...

Как-то есаул со свитой запорожцев в три десять коней возвращался на Сечь из коронного города Брацлава, куда ездил по поручению кошевого к тамошнему воеводе.

Запорожцы ехали берегом реки, то удаляясь, то приближаясь к ней и присматривая место для ночлега. Лесная дорога, петлявшая среди тянувшегося вдоль Буга довольно густого леса,

то суживалась, так что и два коня рядом едва проходили, то снова расширялась. Июльская ночь занималась дивная, лунная, с мириадами густо засеявших всё небо звёзд. Растянувшись долгой вереницею козаки тихо переговаривались, то и дело отодвигая ветви, так и норотившие сорвать с них шапки. Уставшие кони фыркали и спотыкались о корни деревьев.

Внезапно едущий в челе есаул остановился и, подняв руку, ухнул филином. Козаки встали, как вкопанные. Разговоры тотчас смолкли. Запорожцы, пригнувши головы к лошадиным шеям и достав стрельбу, напряжённо вглядывались в тёмные заросли. Всё наваждение дивной южнорусской природы разом пропало, и из-за каждого куста глядела на козаков хищным зверем хмурая смолянистая тьма.

Раздувая крылья чуткого носа, Корсак потянул в себя воздух. Пахло людьми, оружием и табаком, но слабо.

«Эге ж! Ежели бы у меня который лайдак<sup>67</sup> выкурил люльку в залоге<sup>68</sup>, я бы выпорол такого плетюганамы як погану собаку», – подумал себе есаул.

Чеканная турецкая пистоля, в литом брюхе которой уютно потрескивал свинцовый гостинец, сама прыгнула ему в руку. Склонившись к голове коня, есаул что-то пошептал и сделал повелительный жест. Жеребец коротко и призывно заржал. Тот час где-то недалеко впереди, как видно из оврага, ему ответила дрожащим, игривым и ласковым ржанием молодая кобылка. Корсак хмыкнул и потрепал жеребца за гриву.

– Гей, люди! кто вы?! – властно, но вместе с тем спокойно выкликнул он и взвёл курок.

Те, кто таились впереди, поняли, что выдали себя.

– А кто спрашивает? – по-польски крикнули из густых зарослей орешника.

– Рабы божьи! – на польском же ответил есаул.

– Отвечай, вражий сын, не то из мушкета спрошу! – бодря себя голосом, крикнул храбрец из кустов, и послышались звуки взводимых курков.

– Христиане. Низового Запорожского Войска есаул Корсак и со мною полсто козаков, – пригнул на всякий случай есаул вдвое.

– А на что тут шатаются панове козаки<sup>69</sup>, в такой силе, по ночной поре и в такой дали от Запорожья?

– А не багато ли пан-человек задаёт вопросов? Которого лешего панове сами тут высиживают?!

– Мы пана Бзицкого, возного<sup>70</sup> Винницкого повета<sup>71</sup>, люди. Непокойно ныне, в воеводстве татарин шкодит.

– Я слыхал за татар, будучи в Брацлаве, – ответил Корсак веско. – У меня глейт<sup>72</sup> пана воеводы, его светлости князя Збаражского<sup>73</sup>, и мы сейчас sub tutela et patrocinio<sup>74</sup> его. Мы возвращаемся на Сечь, шкоды никому не чиним, тем паче нас цеплять я никому бы не советовал, – присовокупил значительно есаул, и в голосе его отчётливо лязгнуло железо.

В кустах, как видно, принялись тихо совещаться.

<sup>67</sup> Лайдак (польск. *łajdak*) – безземельник, негодник, лодырь.

<sup>68</sup> Залог – здесь в значении «засада».

<sup>69</sup> В польском языке, при обращении к собеседнику традиционно применяется перевод личного местоимения из первого лица в третье или полная замена его на обращение «пан», что позволяет, как бы ничем не затронуть личность собеседника.

<sup>70</sup> Возный (лат. *ministerialis*) – должностное лицо в судах низшего уровня в Польше и Великом княжестве Литовском (см. примечания).

<sup>71</sup> Повёт – административно-территориальная единица в Речи Посполитой в описываемую эпоху (см. примечания).

<sup>72</sup> Глейт (польск. *glejt*) – охранная грамота.

<sup>73</sup> Князь Збаражский – литовский военачальник и дипломат князь Януш Збаражский (1553–1608 гг.), бывший в описываемую эпоху брацлавским воеводой.

<sup>74</sup> *Sub tutela et patrocinio* (лат.) – под защитой и покровительством.

– Пан козацкий посланник пусть его один проедет вперёд да покажет, что у него там за цидулка<sup>75</sup>. Остальным пускай пан велит стоять на месте! Войтек, Михась! Высечь огня, да проверить, как следует пана посланника.

– Добре, – Корсак поднял руку, дав знак запорожцам и тронув коня проехал несколько вперёд, доставая из подвешенного к поясу кожаного кошельа скатанную в свиток и завернутую в зелёную тафту охранную грамоту.

Кусты орешника затрещали, и из зарослей на дорогу осторожно выступили две фигуры, путаясь в страшно долгих суконных доломанах, как видно те самые Войтек и Михась. Один, приставив мушкет к дереву, достал трут с огнивом и принялся высекать огонь, а его товарищ, одной рукой держа наготове незажжённый факел, другой направлял в сторону есаула пистолет так, словно от чёрта крестом загорался.

Железо чиркнуло об камень, и снопы искр посыпавшихся во все стороны озарили лицо, напряжённое дующее на трут. Пыхнул просмоленный факел и своим пламенем раздвинул мрак все стороны. На миг сделалось так ярко, что все были принуждены зажмуриться. Красные всполохи света затрепетали по ветвям деревьев, и, казалось, что те угрожающе зашевелились, то показываясь в багровом пятне света, то отступая во мрак.

Сторожа каждое движение есаула, дозорцы подошли к нему с левой стороны, чтобы всаднику несподручно было рубануть их саблём, и, как видно, на этом исчерпали всю свою бранную выучку. Сияясь высоко поднятым факелом светить от себя, и прикрываясь ладонью от слепившего света, старший дозорец взгляделся в есаула слезящимися как у старой собаки очами.

Свет вырвал из мрака фигуру Корсака на коне, при таком освещении выглядевшую исполинским и величественным монументом воина. Показались и головы козацких коней, а над ними настороженные лики запорожцев.

Есаул перегнувшись в седле протянул дозорцу с факелом свиток. Тот со словами: «А нука посвети, Михась», – передал факел своему товарищу, который с открытым ртом во все очи глазел на ночного гостя.

Развернув грамоту, дозорец некоторое время напряжённо вглядывался в жёлтую венецкую бумагу, шевеля толстыми губами, затем с видимым облегчением перевёл дух и обратился к кустам:

– Всё как должно, пане Януш! Всё в надлежащем виде: и титло<sup>76</sup>, и герб, и печать его светлости князя воеводы!

– Прошу пана<sup>77</sup>, был набег, татаре попалили и разграбили два повета, и до сей поры несколько их загонов ещё бродят по воеводству, – сказал Войтек, возвращая свиток, но, внезапно разглядев чёрный зрак пистолета, страшно глядевший ему прямо в лицо, смешался, охнул и перекрестившись замолк.

– А что ж ваш пан возный? разве сторожит здесь татарина? – насмешливо спросил Корсак, прибирая пистолет в ольстру.

– А не много ли теперь пан есаул задаёт вопросов? Довольно будет и того, что пан возный, а с ним два сто жолнеров ночуют здесь, недалеко, – грубо и неучтиво отрезал застыдившийся минутной слабости Войтек. Но грозность фразы напрочь свёл на нет дрожащий голос дозорца.

Есаул понятливо ухмыльнулся. Он уже по одному тому, что его не заставили спешиться и по множеству прочих мелочей, бросающихся в глаза человеку, избравшему войну смыслом

<sup>75</sup> Цидулка (польск. *tsidulka*) – письмецо, бумажонка, документик и т. п. (в пренебрежительном значении).

<sup>76</sup> Титло (устар.) – здесь в значении «титул».

<sup>77</sup> Прошу пана – одна из форм речевого этикета в польском языке той эпохи, перешедшая затем в разговорный язык Южной и Юго-Западной Руси. Произносимое с разной интонацией «Прошу» может обслуживать несколько этикетных ситуаций, в том числе выполнять функцию учтивости, вежливости при обращении к собеседнику.

жизни, составил о свойствах этого дозора самое пренебрежительное мнение. «Тут более пахолкив<sup>78</sup>, неже жолнежей<sup>79</sup>», – так определил он их для себя.

Некоторое время есаул раздумывал, спокойно и пристально разглядывая дозорцев, которые под его взором начали без нужды откашливаться и переминаться, затем обратился к кустам:

– А что, пане Януш, пора теперь беспокойная – разве заночевать вместе? Пан возный... как-то бишь его? Бзицкий? – не будет возражать, коли мы заночуем на перевозе? Тем паче мои козаки, да ваши люди – при случае можно и от татарвы отбиться...

– Коли панове козаки не гультайство<sup>80</sup> и збуи<sup>81</sup>, то вольны ночевать где угодно, на то у пана посланника и глейт от князя воеводы. А к пану возному я уже наперёд послал предупредить о вас. Проезжайте, панове! – неприветливо ответил из кустов так и оставшийся невидимым пан Януш.

– Проезжайте с богом, панове козаки, проезжайте, – Войтек запалил от своего факела другой и подал есаулу. – По этой дороге пан выедет прямо на перевоз.

Корсак взял трещащий смолой факел, тронул коня и, махнув козакам, поехал, не оглядываясь.

У Войтека осталось странное ощущение, что какую-то неведомую беду только что счастливо продуло мимо него, и ему, как это часто бывает с людьми, испытавшими испуг, захотелось выговориться. Дав козакам удалиться на значительное расстояние, он сплюнул в сердцах и выбранился:

– Тьфу! Скурва! Козак, а сколь фанаберии<sup>82</sup>: «Полсто людей!» Брехун запорожский!

Простоватый же Михась, не стал таить своего испуга:

– Дядько Войтек, как же он нас почуял?! Чисто вовкулак<sup>83</sup>! Пресвятая дева Мария! А смотрел-то, смотрел как?! Далибуг<sup>84</sup>! Точно душу выворачивал! до сей поры мороз по коже продирает!

...Маленький козацкий отряд меж тем продвигался вперёд. Лес постепенно расступался, мрак под деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее. Дорога расширилась и вдруг, резко поворачив, пошла вниз. Тут же, вдали, среди деревьев тепло замигали огоньки костров, и замаячили неясные человеческие фигуры. Повеяло дымом, влагой, и козаки явственно ощутили свежее и холодное дыхание реки.

Вскоре запорожцы выехали на край долгой песчаной косы, далеко врезающейся в реку. За густыми прибрежными кустами разноголосо гомонили потревоженные лягушки. Здесь, судя по всему, и был перевоз на другой берег. Однако нигде не было видно ни парома, ни хотя бы одного челна.

Корсак остановил коня и зорко оглядел стан. На поляне подле леса стреноженные кони пощипывали траву, часть из них лежала, казавшись в ночи тёмными валунами. В ноздри есаулу ударил запах варёного мяса и рыбы. С десятков костров горели не слишком ярко из-за висевших над ними котлов с варевом. Вокруг костров купно сидели и стояли вооружённые люди. Они ели, пили и разговаривали, но тотчас смолкли, увидев выехавших из леса всадников. На всех лицах была написана настороженность, неуверенность и напряжённое ожидание.

<sup>78</sup> Пахолк (укр. пахолк) – слуга.

<sup>79</sup> Жолнеж (жолнер (польск. żołnierz) – буквально, «польский ратник» (см. примечания).

<sup>80</sup> Гультайство – сборище бродяг (от укр. гультай – бродяга).

<sup>81</sup> Збуй (польск. zбой) – разбойник, грабитель.

<sup>82</sup> Фанаберия (польск. fanabéria) – заносчивость, кичливость, спесь, чванство.

<sup>83</sup> Вовкулак (волколак, вовкун, вавкалак, вукодлак) – оборотень, колдун, принимающий образ волка, или человек, превращённый чарами колдовства в волка.

<sup>84</sup> Далибуг (польск. dalibóg) – здесь в значении «ей-богу, клянусь».

Возле самого большого костра, отбрасывавшего во все стороны огромный красный круг, был разбит белевший своими боками шатёр. Обитый чёрной кожей рыдван и несколько повозок, нагруженные дорожной поклажей, со всех сторон окружали его.

От костра тотчас подбежал шустрый дворак в каbate белого неокрашенного сукна. Безошибочным чутьём старого челядинца, определив старшего, он взял под уздцы коня есаула и учтиво сообщил, что пан возный Казимеж Бзицкий приглашает пана козацкого посланника к своему походному столу.

Корсак спешился и пошёл за поминутно оборачивавшимся служкою, придерживая бряцавшую саблю и разминая затёкшие ноги. Подойдя к костру и войдя в круг света, есаул в один миг оглядел всех. Снявши шапку и перекрестившись, он с неожиданной учтивостью раскланялся, метя пером мегерки по песку:

– Почтение ясновельможным пани<sup>85</sup>! Челом<sup>86</sup> вельмоповажному панству! Рах vobis<sup>87</sup>! К услугам ваших милостей, Войска Низового есаул Корсак. Возвращаюсь на Сечь с письмом его вельможности пану кошевому атаману от воеводы Брацлавского, всемилостивейшего князя Януша Збаражского.

У костра оказалось несколько человек, с разными выражениями глядевших на есаула.

На покрытом медвежьей шкурой седле, грациозно сидела прелестная юная панночка, и с нескрываемым любопытством и тревогой тарасила хорошенькие свои очи на ночного пришельца.

В сидящей рядом немолодой, но всё ещё красивой пани, со строгим и надменным ликом, стройный стан и черты лица выдавали как будто её мать.

По другую сторону от юной красавицы сидела какая-то старая дева в чепце, по виду приживалка или служанка.

Из двух находившихся тут же мужчин один оказался седым, как лунь, стариком, зябко кутавшимся в валяный копеняк. Хмурый, выдавший виды вояка, вынувши изо рта длинную трубку, в виде приветствия неразборчиво выбралился себе под нос дребезжащим старческим голосом.

Корсак одним взором определил, что перед ним панский надворный козак, и в розовом свете костра есаул и старик мгновенно возненавидели друг друга. Как цепной пёс, гордящийся своей громыхающей цепью, чувствует природную злобу к волку, так и старый вахмистр, поняв, кто перед ним, только что не загавкал. Есаул же, служивший всю жизнь лишь ветрам да воле, в свою очередь, так определил его себе: «Пёс, молю траченный<sup>88</sup>. Видно и зубы вси<sup>89</sup> сжевал на панской службе». Однако, заглянув старику в выцветшие слезящиеся очи, Корсак хмыкнул в ус – господин отмерил вахмистру жизни до рассвета.

Другой мужчина – шляхтич в дорожном жупане из лосиной кожи, не чинясь, приподнялся с седла покрытого верблюжьей шкурой и, изобразив на породистом лице притворное радушие ответил на приветствие.

В иную пору и в другом месте пан возный вряд ли бы стал любезничать с запорожцем, хотя бы и посланником князя. С младых ногтей впитал он мысль, что запороги – дичь азиатская, но, коли не желаешь навлечь на себя беды, надобно держаться от них подале. Но теперь сложившиеся обстоятельства принуждали кичливого ляха быть любезным.

<sup>85</sup> Па́ни (укр. па́ні) – приблизительно с XV века, в Польше начинает отмечаться такая форма обращения к женщине, как «па́ни». «Па́ниш» – обращение к старшей и, как правило, замужней женщине, «па́нио», «па́ничко» – к девушке. Форма обращения «па́ни» относится и к одному лицу и к группе лиц. Познее, данная форма обращения перешла в разговорный язык Южной и Юго-Западной Руси.

<sup>86</sup> Челом (устар.) – форма приветствие (сокращение от «бью челом» (т.е. кланяюсь). Чело́ (устар.) – лоб.

<sup>87</sup> Рах vobis (лат.) – мир вам.

<sup>88</sup> Траченный – изъеденный, испорченный. Здесь в значении «очень старый».

<sup>89</sup> Вси (укр. всі) – все.

Дело в том, что пан Казимеж вовсе не охранял здесь переправу от татар. И людей у него было отнюдь не две сотни, да и тех, что были, жолнерами можно было считать весьма условно.

Не далее как пятого дня пан Бзицкий с женою Барбарой и шестнадцатилетней дочерью Ксенией, сам-десять гостил у старшей, замужней дочери в Киевском воеводстве. Прослышав о татарском набеге, пан возный засобирался спешно в свою маетность. Женщины его, которые по неписанным законам того века вертели бравыми шляхтичами, как собака вертит хвостом, не поддались на уговоры остаться и решительно поехали с ним.

Так как при особе пана Казимежа было всего десяток людей, да и те, больше для услужения, то зять его, безопасности ради, присовокупил к ним некоторое количество своих. Отрядив с ними старого, служившего ещё его отцу, вахмистра Космача, любезный родственник наказал тому проводить семью тестя до его экономии.

Этого дня, вечером, подойдя к перевозу, они обнаружили, что паром находится на другой стороне реки, и сидящие у едва видного костерка паромщики никак не отзываются на их крики. Ночевавшие тут же на косе несколько посполитых, растолковали, что, ввиду татарского набега, перевоз с наступлением сумерек прекращается, и никакая сила не заставит паромщиков начать его до рассвета.

Таким образом, пан возный со своею женой и юной дочерью принуждён был заночевать на берегу, поминутно со страхом ожидая татар. Потому внезапное появление в ночи запорожских козаков, этих извечных врагов бусурман, ободрило его приунывший было дух. Когда прибежавший дозорец сказал, что по лесу едут запорожцы, он коротко посоветался со старым вахмистром, и тот, после недолгого раздумья, высказал своё мнение, как обычно начав за здравие, а закончив за упокой:

– Оно, конечно, прошу пана! в иную пору я бы бог весть что дал, только бы рядом не ночевать с этими псами низовыми. Прескверное и вероломное племя, доложу я сударю, одним словом – вылупки<sup>90</sup>. Хотя мы с ними и в одного бога веруем, но эти собаки вряд ли с нами одной крови, ибо нравы и обычаи у них зверские. Уж пусть мосьпане<sup>91</sup> поверит на слово, доводилось на своём веку иметь с ними дело. Воевал я их ещё с покойным батюшкой вашего зятя, всемилостивым паном Кадзюбою, дай ему бог царствия небесного, предостойный был кавалер! Как теперь помню, было это в году от Рождества Христова... в году... дай бог памяти... Тогда, ещё помню, у меня однорогая корова против прежнего принесла разом два теля...

Тут старик, заметив, что несколько зарпортовался, насупил бровь и сердито закончил:

– Неизвестно что хуже, вашмость<sup>92</sup>, бусурмены – либо эти харцызяки<sup>93</sup>. Рядом с этими шибениками<sup>94</sup>, коли ваша ласка<sup>95</sup>, видно придется нам всю ночь очей не смыкать и держать мушкеты наготове. Да уж нет у нас, прошу пана, теперь иного выхода. А они всё же богу молятся, святой крест носят, дай боже, чтобы ввиду общей опасности они не покусились на нас!

Таким образом, есаул Корсак оказался сидящим с кубком в руке у походного стола пана возного, а его козаки разжигали костёр на другом конце косы.

После положенных расспросов пана возного о здоровье князя воеводы они перешли к делу и тот час выяснили, что оба сильно слукавили, и у них купно не наберётся и сотни

<sup>90</sup> *Вьлупкы* (укр. *вилупки*) – выродки.

<sup>91</sup> *Мосьпане* – сокращённая форма обращения «милостливый пан».

<sup>92</sup> *Ваймость* – в конце XIV-начале XV вв. на Южной и Юго-Западной Руси, под влиянием разговорного языка Речи Посполитой появляется этикетная формула «твоя (ваша) милосте», постепенно редуцированная до «ваша мость», «вашмость», «ваша (твоя) мосьць» и т. п.

<sup>93</sup> *Харцызяки* – разбойники, грабители (от укр. *харциз* – разбойник).

<sup>94</sup> *Шибеники* – висельники (от укр. *шибениця* – виселица).

<sup>95</sup> *Ваша ласка* (укр. *ваша ласка*) – вежливое обращение при просьбе или согласии на что-нибудь. Данный фразеологизм в разговорной культуре на Южной и Юго-Западной Руси функционировал чаще всего как интенсификатор вежливости.

людей. Но тут пахолок, со щекастым, как у хомяка лицом, кстати, наполнил кубки, и пан возный, встав, поднял первую чару за здоровье короля Речи Посполитой.

Есаул поднялся и, не моргнувши глазом, сказав «*Vivat rex*<sup>96</sup>!», осушил чару.

Надобно сказать, пан Казимеж и допреж того уже был немало озадачен. Ожидал он узреть косноязыкого азиата в вонючих шкурах, потеющего от неумения держать себя с вельможным панством, а увидел пышного восточного рыцаря с манерами учтивого кавалера, свободно изъясняющегося по-польски и латинянки. Вместо вековой грязи под ногтями, пальцы посланника украшали перстни цены необыкновенной, а за камень на рукояти кинжала, судя по всему, можно было прикупить деревеньку.

Пока несколько озадаченный пан Бзицкий толковал с Корсакóм, юная полячка украдкой рассматривала ночного гостя. Панночка никогда ещё в своей жизни не видела запорожского козака, зато с детства слышала об этих ужасных людях множество баек. Но сказки эти неизменно внушали в жителей Польши страх и ненависть к запорогам порою большую, чем к басурманам. Когда Ксения, ещё будучи дитём, не хотела засыпать, нянька-русинка, всегда пугала её тем, что в ночи за нею придёт запорожец с кривым ножиком в зубах.

Есаул совсем не походил на гетманских козаков, которых ей припало увидеть в Киеве. Всё, решительно всё казалось девушке в нём диковинным: и непривычная для Польши внешность степняка, и пышное восточное убранство. С опущенным вниз роскошным усом, стройный и суровый, он напоминал настоящего старинного рыцаря.

От ночного гостя тянулся внятный и терпкий запах опасности, и от одного его присутствия стыла в жилах кровь. По рубцам и шрамам было видно, что большая часть жизни его проходила в ратных трудах. Чувствовалось, что сидящий напротив неё смуглый и пригожий как бес муж, одинаково легко может как спасти, так и погубить христианскую душу. Сквозь его учтивую речь явственно проглядывала грация природного хищника.

Внезапно есаул на миг, быстро точно нож метнул, перевёл свой взор на Ксению, и та, вздрогнув, поспешно опустила очи долу. Тёмная сила его очей, в которых смерть стояла наизготовку, казалось, опалила панночке кожу. От его пронзительного взора тянулся морок, как от речной заводи на рассвете. У неё мурашки пробежали по всему телу, коленки безвольно обмякли, и юные груди затвердели, точно пушечные ядрышки.

Скрестившись с ним быстрым мимолётным взором, юная панночка ужаснулась – какой матерый зверь вымахнул на них из ночной чащи! Но в то же время и восхитилась – муж сей был точно из её незамысловатых и невинных девичьих снов: храбр, умён, неуязвим и пригож. Наверное, так выглядел достославный Байда, о котором она в детстве слышала так много рассказов от своей няньки.

Со своей стороны Корсак, допреж того недостижимый для суетного мира, был немало обескуражен этим чудесным распускающимся цветком. Казалось, все красавицы мира сошлись в ней, чтобы погубить его. В каждом её движении таилась бездна очаровательной неги, а очи манили в такие истомные миры, где есаул прежде и в помыслах не бывал.

– Христина, ты видела?! У козака очи разные! – нетерпеливо дергая за рукав, прошептала Ксения на ухо старой деве.

– Иисусе Христе! – мелко закрестилась служанка. – Принесла его нелёгкая к ночи! Это не простой козак, моя ясочка<sup>97</sup>, это запорожский на́больший, да ещё, как видно, чаклун!

– Чаклун?

– Колдун, то бишь, чародей. Я о таковских ещё от бабушки своей слыхивала. Запорожские чаклуны все, как один, девственники с каменными сердцами, женщин и на дух не выносят.

<sup>96</sup> *Vivat rex* (лат.) – да здравствует король.

<sup>97</sup> *Ясочка* (укр. *ясочка*) – душечка, милая. Ласковое обращение к девочке, девушке, женщине на Южной Руси.

Даже смотреть в их сторону грех! – шипела Ксении на ухо Христина. – Не смотри, донюшка<sup>98</sup>, ему в очи, не то приворожит и украдёт твою душу! Неизвестно, откуда явится чёрная тоска, отравит и высушит твое сердечко, и всё сделается не милым, окромя его бесовских очей! Зачарованная, пойдёшь за ним, куда прикажет, и будешь делать, что велит!

Меж тем, задетая за живое невниманием к ней мужчин, пани Барбара неожиданно обратилась к есаулу:

– Пан посланник, вы, запорожцы, живёте у самой пасти басурманского monstrum<sup>99</sup>. Твоя милость, как видно, человек бывалый, будь любезен, расскажи, что это за люди – татаре, и отчего эти нехристи постоянно пределы наши набегами опустошают и damnum<sup>100</sup> нам приносят?

Старый вахмистр изумлённо крикнул. Пан возный недовольно воззрился на супружницу, но сдержался.

Есаул поколебался мгновение, но так как уязвлённый пан Казимеж молчал, то Корсак, сказавши «Commodo<sup>101</sup>, пани», начал неторопливо говорить, подбирая польские слова:

– Народ татарский, издревле живущий в Крыму и в прочих пределах – суть племя беспощадное и храброе, как нарочно сотворённое для войны и походов. Нынешние татаре весьма богомольны и почитают себя правоверными, то есть единобожными с османами. Гнев их – от их грозного бога, а вражда направлена на кафиров, как именуют они всех иноверцев, и выражается в грабеже и разбое. В стародавнюю пору обретались они в великой татарской Орде Тамучина<sup>102</sup>, владевшего половиной мира, потом побывали в улусе Жучи<sup>103</sup>, к которому принадлежала хотя бы и нынешняя вся Московия, затем, при хане Гырее<sup>104</sup>, крымский юрт и ногаи отложились от Большой Орды. Но вскоре всех их покорили и обасурманили османе, и с той поры короля Татарии назначает агарянский султан. Хотя от поры до поры татарские ханы бунтуют против султана и в эту пору, за поддержку обращаются хотя бы и к нам.

– Иисусе Назарейский, miserere mei<sup>105</sup>! И что же?! неужто помогаете нехристям?!

– Коли речь идёт о купной борьбе с османским султаном, отчего не оказать? Тем паче, не татарин суть зло. Кусает пёс, да травит-то пса – господин!

– А то правда, прошу пана, что татаре людей едят? – выпалила единым духом Ксения и тотчас сделалась пунцовой как маков цвет.

– Ксения! – рыкнул пан Бзицкий, метнув на дочь гневный взор.

– Пусть пан есаул извинит мою дочь за ineptum<sup>106</sup>, – быстро вмешалась пани Барбара, – она ещё совсем ребёнок и непосредственна как дитя.

Есаул тонко усмехнулся в ус.

– То байки досужие, ясная панночка. Хотя конь – это орудие их священной войны, весь татарский народ ест конину, ибо свинину им запрещает есть их бог. А в походе, тем паче, основная их пища конина, которую они получают во время пути, дорезая изнурённых и негодных к бегу лошадей, не брезгуя, прошу пани, и павшими. Кочевники не склонны к хлебу и воде, и весьма много татар во всю жизнь не пили воды, ибо пьют выдержанное шесть-семь дней конское молоко, прозываемое кымыз. Этот напиток успокаивает голод и к тому же дает легкое

<sup>98</sup> *Донюшка* – доченька (от укр. *до́ня* – дочка).

<sup>99</sup> *Monstrum* (лат.) – чудовище.

<sup>100</sup> *Damnium* (лат.) – ущерб.

<sup>101</sup> *Commodo* (лат.) – извольте.

<sup>102</sup> *Тамучин* (искаж. *Темучин*) – Чингисхан.

<sup>103</sup> *Улус Жучи* (искаж. *Джучи*) – улус Джучи (Золотая Орда).

<sup>104</sup> *Хан Гырей* (искаж. *Гирей*) – основатель династии, первый хан Крыма Хаджи I Гирей, в результате долгой борьбы добившийся независимости Крыма от Золотой Орды).

<sup>105</sup> *Miserere mei* (лат.) – помилуй мя.

<sup>106</sup> *Ineptum* (лат.) – бестактность.

опьянение. Также, дабы захмелеть, они пьют ячменную бузу<sup>107</sup>. Выпив кувшин бузы, нехристь обыкновенно хмелеет и принимается распевать свои заунывные песни.

– Отчего же нам от них поп расет<sup>108</sup>? – вновь переспросила пани Барбара, расширяя очи и беспокойно моргая длинными коровьими ресницами.

– Крымчаки и ногаи вторгаются в христианские пределы суть по трём причинам: от крайней бедности – ибо не в состоянии прокормить самих себя; от отвращения к тяжёлому чёрному труду и от страстной ненависти ко всем христианам, коих они почитают хуже собак, достойных всяческого презрения и истребления. Но так как постоянных войск Крымский хан не держит, кроме личной охраны, да тех бёлюков<sup>109</sup> янычаров, которые присылает ему султан, то в набег поднимаются охочекомонные<sup>110</sup> татары, в коих, впрочем, никогда не бывает недостачи. Число их зависит лишь от того, какого звания вельможа, стоящий во главе набега. Коли идёт сам хан, то для большого похода он может поднять до трети всего Крымского юрта, а это немало как от восьмидесяти до ста пятидесяти тысяч конных воинов. Ежели идёт мурза<sup>111</sup> либо калга<sup>112</sup>, то с ним обыкновенно идут сорок-пятьдесят тысяч всадников. Зимой они всегда идут более многочисленным войском, нежели летом, ибо их нековаными лошадям легче бежать по мягкому снегу. По зимней поре страшат их лишь две вещи. Первая – это гололедица, ибо их некованные кони делаются бессильными против наших...

– Басурмане не куют лошадей? – округлила очи пани Барбара.

– Никогда. Только знатные вельможи, имеющие кровных коней, вместо подков, подвязывают им толстыми ремнями коровий рог. Другая причина – это крепкие морозы с жестокими ветрами в Диком Поле, от чего они, случается, гибнут в великом множестве, спасаясь лишь тем, что, разрезая брюхо коня, залезают внутрь и греются, покуда труп не охладает.

– Свенты Езус<sup>113</sup>! Царь Иудейский! Что ты такое говоришь, пан посланник! – воскликнула с отвращением пани Барбара, и перекрестилась.

– Прошу пане, истинный крест, так оно и есть! Лошади их – бакеманы, или по-другому – бахманы, не красивы и неказисты с виду, поджары, малорослы и неуклюжи, но зато отличаются быстротой и чрезвычайной выносливостью. Каждый татарин ведёт с собой в набег от трёх до пяти верховых коней, ибо часть их идёт в пищу, да и всадник всегда имеет возможность переменить усталых лошадей свежими, оттого покрывают они расстояния весьма скоро. В набеге кочевники заботятся более о своих конях, чем о себе, и без нужды не обременяют их. Кони их довольствуются степовой травой и даже по зимней поре приучены добывать её, разбивая снег копытом, потому ячменя с собою берут гололобые только на два-три дня. А коли конь утомляется так, что не может следовать за всадником, то татарин, ежели не дорезет его, то бросает в степи на попас, а на обратном пути всегда находит на том же месте отдохнувшим.

– Отчего же летом набегов меньше? – не унималась любопытная полячка.

– Летом им труднее скрыть своё движение, да и летом они менее свободны, чем зимою. И реки летом значительно замедляют продвижение. Встретив на своём пути реку, переправляются татары вдруг, все разом, растянувшись вдоль реки иногда на милю. Для переправы каждый бусурмен сооружает для своих пожитков плот из очерета, который вяжет к хвосту лошади. Раздевшись, прошу пани, донага, одной рукой нечестивец держится за гриву коня, а другой гребёт. Иногда, вместо плотов берут они лодки, коли находят таковые, и кладут в них всю свою

<sup>107</sup> Буза́ (турк.) – легкий хмельной напиток из проса, гречихи или ячменя.

<sup>108</sup> Поп расет (лат.) – нет покоя.

<sup>109</sup> Бёлюк – воинская единица в пехотных и кавалерийских войсках султана, в войсках эйялетов и в свитах.

<sup>110</sup> Охочекомонные (укр. охочекомонні) – конные добровольцы.

<sup>111</sup> Мурза́ – аристократический титул в Крымском ханстве, знать.

<sup>112</sup> Калга́ – титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Калга́ назначался ханом почти всегда из числа своих сыновей, братьев или племянников.

<sup>113</sup> Свенты Езус (польск. Święty Józef) – Святой Иисусе.

походную поклажу. Поперёк лодок кладут толстые жерди, к концам которых вяжут одинаковое, для равновесия, число лошадей. Плавать поганые<sup>114</sup> не обучены, и, оторвавшись от гривы своего коня, обыкновенно сразу тонут. В собственных владениях эта сила лошадей и людей идёт медленно, неотвратимо и молчаливо, растянувшись длинным узким рядом. Который человек хоть единожды узрел Орду, тот уже вовек не забудет этого...

Есаул замолчал. Его лик, озаряемый розовым светом огня, необычайную выражал серьёзность. Складная речь и глубокий грудной тембр голоса действовали столь завораживающе, что все поневоле начали вертеть головами и тревожно поглядывать на тёмную стену леса.

Но пани Барбара, хотя отчаянно трусила и наперёд знала, что теперь не сомкнёт очей до самого рассвета, не будучи в силах перебороть своего природного любопытства, однажды уже погубившего род людской, просила есаула рассказывать далее.

Отхлебнув из чары и вытерев платком усы, Корсак продолжил:

– Ввиду Запорожья Орда разбивается на чамбулы и применяет все средства и способы степовой войны, дабы обмануть наши бекеты: идут только ночами, избирая для движения низменные лощины и глубокие балки, таятся всячески и огня не разводят. А наперёд во все стороны высылают самых ловких и опытных наездников для поимки языка. Идут татаре налегке и не обременяют себя обозом, даже возов не терпят, ибо те помеха в набеге. Арматы у них тоже нет в заведении, так как крепости и замки они не воюют и вообще больших сражений всячески избегают. В набеге их главная цель – награть поболе, взять ясырь и уйти с награбленным. Всех ясырей-христиан гонят они в Крым, где стремятся обратить в свою веру, а ежели невольник не принимает учения Мехмета<sup>115</sup>, то его продают, как безродную собаку, в рабство в Кафе либо Царьграде, – есаул замолчал, и какая-то тень набежала на его лик.

– Матка Бозка<sup>116</sup>! – закатила красивые очи пани Барбара.

– Татарские воины отличаются проворством и ловкостью и, несясь во весь опор, могут на скаку переброситься с одного коня на другого, а освободившийся конь всегда скачет рядом, – продолжил есаул. – Стрельбу и брони имеют лишь знатные и богатые татары, а у простых воинов всё их оружие – обитый бычачьей кожей круглый щит, сабля, кинжал, сагайдак да аркан; зато стрелюю они попадают в неприятеля на всём скаку со ста шагов! Всякий кочевник, дабы созывать своих товарищей, имеет при себе дудку, сделанную из полой лошадиной кости. Также каждый имеет огниво, кожаное ведро, шило с верёвочками, нитками и ремешками и сыромятные ремни для связывания ясырей. Одеты они обыкновенно очень легко: шаровары, рубаха, сапоги без шпор, кожаная шапка да бараний тулуп. Я видел многих татар, одетых скверно, в одних штанах. Но в набеге нечестивец напяливает на себя всё, что подвернётся под руку, будь-то женское платье либо убранство священника. На каждый десяток воинов приходится один котёл для варки мяса и барабан, а для собственного пропитания каждый везёт с собой некоторое количество просяного или ячменного толокна, сухарей и соли. Кроме того, для соображения в местности, у каждого предводителя чамбула есть особый инструмент – нюрнбергский квадрант<sup>117</sup>...

Корсак умолк и смочил горло. Ксения, вся подавшись вперёд, как замороженная, смотрела на него во все очи.

Тут есаул в очередной раз уязвил пана возного, непринуждённо извлёкши из пояса дорожную и редкую диковинку – огромные, позлащённые часы иноземной работы.

<sup>114</sup> *Пога́ный* (устар.) – здесь применительно к людям не христианской веры, в значении «иноверец», т.е. – религиозно нечистый.

<sup>115</sup> *Учение Мехмета* (искаж. *Магомэта* (пророка Мухаммета) – ислам.

<sup>116</sup> *Ма́тка Бо́зка* (польск. *Mátka Bózka*) – Матерь Божья. У католиков, под выражением «Матерь Божья» понимается Дева Мария – одна из самых почитаемых католических святых.

<sup>117</sup> *Нюрнбергский квадрант* – старинный угломерный астрономический инструмент для измерения высот небесных светил над горизонтом и угловых расстояний между светилами (см. примечания).

– Однако, прошу панство, поздно уже, – Корсак, поднявшись, начал откланиваться, уловив напоследок разочарование и досаду в девичьем взоре.

Тут Ксения, у которой, как видно не выходила из прелестной головки какая-то мысль, неожиданно остановила есаула:

– Прошу пана посланника! а то правда, что промеж запорожцев есть колдуны?

Наивная, прямая простота юности развеселила Корсака, и он не удержавшись отколол вот какую штуку:

– То пусть ясная панночка проверит сама и заглянет в свою чару...

Юная полячка заглянула в свой кубок и, изумлённо воскликнув, достала со дна его перстень. Костёр неожиданно ярко полыхнул, точно в него горилки плеснули, и свет живого огня тотчас отразился в равновеликих гранях драгоценного камня, в глубине которого вспыхнул и тихо затлел, казалось, собственный пламень.

Старый вахмистр в изумлении раззявил пасть, некстати выказав несколько пожелтевших и длинных как у собаки, зубов, а дева-приживалка, крестясь, зашептала старинную молитву от нечистой силы.

Пани Барбара тихо охнула, узрев, что камень был немало с жёлудь, и жаркий румянец стыда, что не сумела сдержать восхищения, залил ей лик и даже шею.

Есаул не без галантности поклонился:

– Милостивый пан возный! любезная пани Барбара! *Ab imo pectore*<sup>118</sup> благодарю пане, за удовольствие приятного общения и разделённую с путником трапезу! Не сочтите за дерзость незначного<sup>119</sup> человека, простого жолнера, прошедшего всю жизнь на татарском порубежье... Дозвольте, прошу пане, в знак благодарности и в память о нечаянном знакомстве поднести ясной панночке сущую безделицу, которая будет хранить её от бед – перстенёк, освящённый на Гробе Господнем?

Пан Казимеж заскрежетал зубами, побагровел от ярости дородной своею шеей и с трудом сдержался, чтобы не схватиться за саблю. «Посади быдло<sup>120</sup> за стол, а оно и ноги на стол!» – огненной лентой полыхнуло у него в мозгу.

Ксения зарделась до мочек ушей и вопросительно взглянула на мать. Та, оправившись от невольной растерянности, чуть приметно кивнула.

Приподнявшись, юная полячка склонилась в поклоне и надела кольцо на перст. Взор её, невзначай сверкнувший на есаула из под соболиных бровей, сиял такой счастливой наивно-стью, какую по крупичкам собирает вседержитель и вкладывает иногда в очи юной деве, дабы дать погрязшим в грехах мужам представление о том, как выглядит ангел небесный. Ксения так приязненно и простодушно улыбнулась, так многообещающе распахнулся ее ясный взор, что какая-то потаенная струнка в душе есаула мгновенно отозвалась и, дрогнув, кольнула в самое сердце. Но, взяв из рук козацкого чародея перстень, панночка и не подозревала, что оставила ему взамен крохотный ключик от своей судьбы.

Есаул молча поклонился, круто повернулся и, шагнув из круга света, растворился в темноте. Он точно знал, что этой ночью за юной шляхтянкой придёт старуха с косою, и уже искал способа спасти красавицу-полячку.

Едва Корсак отошёл, как пан Бзицкий дал волю душившей его ярости. Расплескав вино, он вскочил как ужаленный и выхватил саблю:

---

<sup>118</sup> *Ab imo pectore* (лат.) – с полной искренностью, от души.

<sup>119</sup> *Незначный* – в Речи Посполитой той эпохи «значность» прочно ассоциировалась с оседлостью. Таким образом, называя себя незначным человеком, есаул Корсак имел в виду, что он человек не оседлый, не принадлежащий к реестровым козакам Речи Посполитой.

<sup>120</sup> *Быдло* (польск. *búdló*) – крупный рогатый скот. Здесь, в презрительном, бранном значении – скот, скотина (человек низкой духовной культуры, плохо воспитанный), грубый, неотесанный, муржлан.

– Стерво<sup>121</sup>! Пёс твою морду лизал! Номо novus<sup>122</sup>! Как посмел!? А ты?! ты... ты, старая дура! ты чего молчишь?! Как девку воспитала?! Вся порода ваша...

Но договорить пан возный не успел, и вахмистру со старой девой-приживалкой так и не посудьбилось узнать, что же была за «порода» пани Барбары, ибо последняя, поднявшись, залепила гонористому шляхтичу такую звонкую оплеуху, что эхо её отозвалось на другом берегу реки.

– Да как ты смеешь!? Ты не на конюшне! Я – шляхтянка! и я не позволю! Коли хочешь – поди и заруби козака, но впредь никогда, слышишь?! никогда! не смей со мною так!

Тут с грозно рыкающим львом произошло удивительное превращение, и он на глазах оборотился в кроткого агнца. Пан Казимеж обмяк, точно выпустил из себя весь воздух, поник, потускнел, сделался точно на целый локоть ниже, и даже лихо торчащий его ус уныло обвис.

– Бася<sup>123</sup>! як бога кохам<sup>124</sup>! Я ведь только хотел сказать, что принимать в дар награбленное – дурной знак... Тем паче одному богу ведомо, сколь на сей «безделице» крови, и с какой мёртвой длани её сей лайдак снял... – униженно забубнил пан возный, вложив саблю в ножны и растерянно потирая щёку. – Да я бы посёк гунцвота<sup>125</sup> в капусту, не будь он посланником от князя...

...Лежащие у костра запорожцы, дожидаясь есаула не спали.

– А шо, пан осавул, недурно було б зозулю<sup>126</sup> черноброву умыкнуть? – подмигнул Корсаку запорожец Марко Набок, бывший старшим в свите есаула. – Да и мать ейна – ще файна кобета<sup>127</sup>! Побей меня божья сила, батько, коли я цю уродзонную кобылу не взнуздаю<sup>128</sup>! – оскалил Марко белые как у волка зубы.

Окончание фразы покрылось хохотом козаков, но есаул заклепал рты одним лишь мрачным движеньем брови:

– Не час и не место, панове. Татарин близко блукае<sup>129</sup>, я чую... А сей сброд лядський<sup>130</sup>, – есаул кивнул себе за спину, – боле привычный з пивом и горилкой сражаться. Ложитесь себе, панове, бо спать вже не довго...

С этими словами есаул завернулся в шерстяную кирею и лёг тут же, подле костра. Тревога уже подкралась к его сердцу, и смутные предчувствия томили душу.

Через пару часов он бодро вскочил, точно и не спал вовсе. Ночь была в самой глухой своей поре. В реке отражался месяц, обливавший всю округу потусторонним покойническим светом. Где-то далеко в лесу выли волки. Стан мирно спал, и нигде не было видно ни единого огонька.

Корсак растолкал Марко и, отдав письмо князя к кошевому, велел не мешкая уходить всем прочь. Немного поразмыслив, есаул велел забрать и его жеребца, наказав сберечь коня до его возвращения. Тихо побудив запорожцев и не дав им выкурить даже по самой маленькой люльке, есаул накоротке распрощался со всеми, препоручив их Марко.

<sup>121</sup> *Стерво* (польск. *ścierwo*) – падаль.

<sup>122</sup> *Номо novus* (лат.) – человек новый. Здесь в значении «выскачка».

<sup>123</sup> *Бася* (польск. *Basia*) – уменьшительно-ласкательное от имени Барбара.

<sup>124</sup> *Як бога кохам* (польск. *yak bóga kóchat*) – я бога люблю. Здесь в значении «богом клянусь».

<sup>125</sup> *Гунцвот* (польск. *gúntsvot*) – мерзавец, прохвост, шельма.

<sup>126</sup> *Зозуля* (укр. *зозуля*) – кукушка. Здесь, ласковое обращение к девушке, женщине на Южной Руси.

<sup>127</sup> *Файна кобета* (польск. *fájna kobiéta*) – красивая женщина.

<sup>128</sup> *Взнузда́ть* (*занузда́ть*) – вложить удила в рот лошади, пристегнув их к уздечке. Здесь употреблено в значении «сделать укорот», «обуздать», «взять силой».

<sup>129</sup> *Блука́е* (укр. *блука́е*) – бродит, блуждает, шатается.

<sup>130</sup> *Лядський* (укр. *лядський*) – польский.

Дождавшись, пока козаки, ведя коней в поводу, бесшумно скрылись в лесу, Корсак тщательно осмотрел оружие, обошёл и оглядел всю косу и, наконец, утвердился невдалеке от шатра на какой-то торчащей из песка коряге, положив самопал на колени.

Ждать пришлось не долго. В волчий час, под самый рассвет, когда на косу пал туман, невдалеке пронзительно захохотал филин, и из леса бесшумно выкатилась тёмная масса спешившихся крымчаков.

– Встречай гостей, пан возный! – страшным голосом выкрикнул есаул и за сто шагов положил басурмена из самопала. Татары взвыли так, что кровь заледенела в жилах, и бросились на лагерь. В закипевшей сумятице смертоубийства, когда крымчаки резали и вязали обезумевшую от ужаса дворню, Корсак сумел выхватить юную полячку, как волк овцу из отары.

Уйдя берегом в заранее присмотренные густые заросли тала, он залёг с нею в яме, вырытой дикими кабанями. Покрывшись грязью с ног до головы, они пролежали в яме остаток ночи. То был самый долгий и страшный час в жизни панночки, затыкавшей уши, чтобы не слышать ужасные крики побиваемой дворни.

Только с наступлением рассвета есаул, как змей, выполз из зарослей. Отогнав пировавших волков, Корсак нашёл среди разбросанных по поляне трупов всех участников вчерашней вечера, кроме пани Барбары.

Есаулу никого не было жалко, и он привычно и равнодушно переворачивал хладные тела, но Ксению он пожалел и умолчал о том, что нашёл среди убитых её отца.

Возвратившись к зарослям тала, Корсак окликнул полячку и, вымолвив только:

«Делать тут боле нечего, надобно идти, панночка», – увёл юную шляхтянку стороною в лес.

По лесу странная парочка блукала несколько дней, то и дело натываясь на страшные следы оставленные крымчаками.

Грешная природа мирских страстей темна, а враг рода человеческого приберегает для людей самые хитрые свои соблазны. Неизвестно, как было дело – не то есаул приневолил девку, не то очаровал, но так случилось, что во время скитаний пошли они против божьего закона и стали жить как муж с женою.

Вскоре, изрядно исхудавшие и обтрепавшиеся, но с горячечным блеском в глазах, они наткнулись на один из польских вооружённых отрядов, гонявшихся по воеводству за татарами.

Ляхи сторяча едва не посекали есаула саблями, приняв за похитителя шляхтянки, но глейт князя воеводы, вкупе с рассказом соблазнительной панночки, покрыли все сомнения.

В ответ Ксения услышала, что, к великому сожалению, пан Бзицкий, в ту злокозненную ночь геройски сложил голову на перевозе, а пани Барбара угодила в полон, но, слава Всевышнему! через два дня была отбита.

Тут сознание покинуло истерзанную душу юной девы, которая за несколько дней потеряла отца, невинность и честь, а взамен получила новую жизнь, уже зародившуюся в её чреве.

Есаул препоручил бездыханную Ксению под попечительство попавшего под её чары предводителя отряда, тут же, не торгуясь, купил у него заводного коня – и только пыль закружилась за козаком. Он уже чувствовал приход большой беды, да только от неё не ускользнешь и на самом резвом скакуне. Расплата подлунного мира догнала его, и он разом потерял свою силу и впал в горячку, а уже в этом беспомощном состоянии сам угодил в полон всё к тем же татарам.

Несколько дней у есаула ещё теплилась надежда, что их настигнут и отобьют, но с каждым днём она угасала, как забытый в степи костёр. Татары гнали ясырь, почти не останавливаясь ни днём, ни ночью, далеко обходя сёла и хутора.

Время от времени басурмены на ходу забивали одну из лошадей или добивали павшую, резали конину на большие и тонкие лепёшки, клали их на спины своих коней, седлали, затягивая крепко подпруги, и ехали так несколько часов. Потом снимали сёдла, сгребали с мяса

кровавую пену и снова клали эти лепёшки под седло. Через несколько часов такого приготовления конина делалась как бы парная, и татары с жадностью поедали эту ужасную пищу.

По дороге есаула несколько раз чуть не прикололи, думая, что он не дойдёт до Перекопа. Да он и сам, оказавшись ясырем, уже посчитал себя словно бы умершим. Корсак жил, но эта была не жизнь. Время сделалось безвременьем, оно двигалось вместе с палящим солнцем, а измерялось расстоянием между куском сырой зловонной конины и несколькими глотками тёплой, дурно пахнувшей воды из татарского бурдюка.

Ясырей вели в середине чамбула, кони крымчаков поднимали столбы удушающей пыли, ручейки пота смешивались с пылью, превращались в липкую грязь, пот разъедал, слепил глаза. Отчаяние, словно яд, просачивалось в кровь и постепенно наполняло души невольников тупым равнодушием. Но страшные испытания были ещё впереди – ясырь ожидал дележ и разбор.

Убедившись, что за ними нет погони, татары остановились на отдых и первым делом принялись делить ясырей.

Женщин отделили от мужчин и принялись поганить, тут же, на глазах отцов, мужей и детей. Не избегнул насилия никто. Те из невольников-мужчин, кто не смог выдержать этой страшной пытки, предпочли погибнуть, с безнадежным отчаяньем бросаясь на сабли. Полоняники, которых татары сочли ослабевшими и негодными идти далее, были безжалостно заколоты.

Поделив ясырей, татары принялись резать коней и готовить особое блюдо, почитаемое у них лакомством – конскую кровь, смешанную с мукою. Объевшись и захмелев от бузы, одни валялись спать около костров, другие снова насиловали женщин, играли в кости или высвистывали на своих дудках дикие пронзительные мелодии.

И ничего нельзя было с этим сделать, и ни чем нельзя было помочь этим несчастным, а можно было только закрыть глаза и заткнуть уши...

Есаул тяжело, с первого дня неволи презирал своё новое положение. Позор, словно тугой аркан, душил его. Неволя была тяжёлой, как свинец, и безнадежной, как мука. И только в смрадной яме невольничьего рынка, вслушиваясь в гул вечности, он будто очнулся. Медленно, словно нехотя, капля по капле, стала возвращаться к нему его сила, и полночная Киммерийская степь снова заколобродила в нем.

Судьба лишила его всех своих милостей и повернула очами к кандалам и решёткам, но взамен свела с диковатым кусачим волчонком – Шамаем.

В упрямом юном строптивце угадал Корсак себе подобного, родившегося уже с зубами хищника, которому суждено всю свою жизнь грызть врагов, и меж ними протянулась потаенная ниточка душевного родства. Есаул явственно чувствовал, что над головою козацкого хлопчика была простёрта длань высокого покровительства.

По всем закономерностям выпавшей им доли, волчонку полагалось сделаться рабом султана и постигать суровую янычарскую науку, а есаулу стигнуть на плавучей каторге либо в каменоломнях, но вместо того их долго катило рядышком по обочине смрадных невольничьих заводей османской империи.

Во время очередного перевоза галера с рабами зашла в гавань Кафы – проклятого всем христианским миром города-порта, через невольничьи рынки которого прошли и навеки сгинули десятки тысяч рабов-христиан.

Вечером корабельный паша сошёл на берег, отпустив в город большую часть команды и янычар. Оставшиеся, не исключая и стражи, утомлённые за день солнцем, беспечно погрузились в сон на корме. Бодрствовал только славившийся своею свирепой жестокостью галерный пристав потурнак Мустафа.

Улучив минуту, есаул подозвал его к себе и в самое короткое время внушил потуреченному венецианцу, что он, Корсак, является корабельным пашой. Освободившись от оков, есаул

хладнокровно зарезал Мустафу его же ножом и завладел ключами от цепей, сковывавших гребцов и рабов на продажу.

Невольники принялись снимать с ног и рук железо и, вооружившись всем, что попало под руку, яростно ударили на корму. Османе, растерявшиеся спросонья, не успели пустить в ход мушкеты и были частью перебиты в скоротечной рукопашной резне, а частью перевязаны по рукам и ногам.

Победители обрубали якорные канаты, распустили паруса, сели за привычные вёсла и направились в море. Терять им было нечего.

Пушки с берега и с других кораблей, стоящих в гавани, открыли по мятежной галере огонь, но не достали её. Несколько галер бросились было в погоню, однако, начавшийся шторм с грозой и дождём загнал их обратно в гавань.

И только прибежавший на берег корабельный паша, в бессильной ярости бросился в море и, стоя по пояс в воде, долго ещё осыпал проклятьями дерзких неверных и рвал на себе в отчаянии бороду.

Шамай сам некоторое время был, словно в мороке, и опаматовался только в открытом море, сжимая в руке окровавленный тесак, к лезвию которого пристал ошмёток человеческой кожи с волосами.

С того памятного дня сделались они неразлучны, и время было не властно над их приязнью. За долгие годы их мужские дела и помыслы сплелись в тугий узел, и Шамай узнал про есаула много такого, о чем лучше не задумываться.

## Глава VIII

Полковник услышал шорох за спиной и промолвил, не оборачиваясь:

– Де<sup>131</sup> чорты<sup>132</sup> носили пана есаула?

Тотчас сумерки словно бы сгустились, и из них материализовалась и выступила на трепещущий свет костерка подбористая, словно сотканная из вечернего прохладного воздуха фигура.

– Не страшишься поминать лукавого у ничь, пане полковник? – как обычно насмешливо спросил Корсак.

Шамай глянул на него сумрачно, перекрестился и посунул на вильчуре:

– Сидай<sup>133</sup>, друже<sup>134</sup>... Потрапезничаем чим бог послав, да помиркуем<sup>135</sup>, як нам теперь быть... Гей, хлопче, кликни панов-сотников!

Перед полковником на расстеленном куске рядна уже накрыт был стол, по походному положению казавшийся верхом роскоши. На обмытых листах лопуха дымился изрядный кус горячей, только что с костра баранины, рядом лежали головка чеснока, несколько луковиц, пригоршня маленьких репок и цельный загреб. Были также прибавления в виде сулеи с водою и расшитого потемневшим жемчугом гаманца с белой и чистой крымской солью.

– Добрая весть, когда кличут есть! – есаул опустил рядом, подвернув под себя по-татарски ноги.

Тут же явился Панас Чгун, держа в одной руке кинжал, а в другой шматок жёлтоватого, жёсткого, как подмётка, сала, который ему где-то мимоходом посчастливилось отхватить. Пришёл и другой сотник, жилистый как корень поляк Януш, по прозванию Кропива, перекрещенный на Сечи в Ивана. Но новое имя отчего-то не прижилось, и поляк так и остался для всех Яном. Бросив копеняк на седло, сотник сел и вслушался в разговор Шамая с есаулом.

– Що пораненые? – спрашивал полковник.

– Жить будут, коли не помрут... Который разом дух не испустил, той здюже<sup>136</sup>...

Шамай обвёл красными от недосыпа очами старшину:

– Панове-атаманы... Мы, що должно – добре исполнили, дали табору уйти на Дон. Самая пора и о себе грешных помыслить. Шо теперь будем робить<sup>137</sup>? куда подадимся?

Все, к кому он теперь обращался, были людьми выдающимися, но каждый наособицу. Всю жизнь ходили они по краю и за край заглядывали, и над каждым по десятку лет висели смертные приговоры, но все они относились к этому спокойно и привычно, как к досадной, но неизбежной докуке.

Над есаулом эти самые приговоры, по слухам, уже дважды приводились в Польше в исполнение, а вот он – запорожский долгожитель! живой и невредимый, благодушно ухмыляется в ус наперекор судьбе! Одно его присутствие внушало всем здесь собравшимся особый род надежды – веру в благосклонность провидения. Со старым химородником и спорить-то было затруднительно, ибо якобы приведённые в исполнение казни повлияли на него таковым образом, что он вовсе перестал в чём либо сомневаться. Пребывание в легенде накладывало

<sup>131</sup> Де (укр. де) – где.

<sup>132</sup> Чорты (укр. чорти) – черти.

<sup>133</sup> Сидай (укр. сидай) – садись.

<sup>134</sup> Друже (укр. друже) – друг. В разговорном языке Южной Руси той поры, форма обращения «друже» выполняла этническую функцию и выражала не социальный, а скорее, эмотивный план взаимоотношений между людьми, используя при обращении к равному, знакомому.

<sup>135</sup> Помиркуем (укр. поміркуєм) – подумаем, обдумаем.

<sup>136</sup> Здюже (укр. здюжає) – здесь в значении «пересилит», «переборет».

<sup>137</sup> Робить (укр. робіти) – делать.

на козацкого чародея отпечаток вечности, и он судил обо всём, как бы с того света, откуда лучше видно.

Оба сотника тоже в своей жизни наплели довольно кружев и повидали всякого.

...Круглый козацкий сирота Панас, которому панский кнут сызмала заменил материнскую титьку, прибился на Сечь в том возрасте, в котором его сверстники в одной рубашке ещё бегают по базу, а через десяток годов его прозвание уже было известно на Запорожье всякому.

Сразу уродившийся неуступой Панас, разум имел тяжкий, нрав крутой, а манеры тяжёловатые для окружающих. Своим живым примером Чгун напрочь опровергал распространённое суждение о богатырях, как о людях добродушных и покладистых. К скупым словам у него всегда бесплатным приложением был чудовищного вида кулак, поросший густой чёрной шерстью. Не приведи господи, было попасть под эту ужасную колотушку – хоть сразу готовь домовину! На Сечи хорошо помнили случай, как однажды взбесившийся сотник так хватил кулаком по голове чем-то не потрафившую ему кобылку, что та, храпя, легла и околела.

Обладая чудовищной силою, Панас гнул подковы, ухватившись за заднее колесо, останавливал запряжённую шестериком повозку, а дышло – так просто ломал о колено. Однажды, расплачиваясь в корчме, сотник, шутя, воткнул талер в деревянную стену, так что шинкарю, дабы извлечь его, пришлось прибегнуть к топору.

Из всех разнообразных затей человечества душевно привязался Чгун только к буздыгану, с крепкой кизиловой рукоятью, да сабле. Шамай крепко уважал сотника за такое постоянство.

Женщин Чгун на дух не переносил, вполне соглашаясь в этом вопросе с приверженцами учения Магомета, отрицающими у женщин наличие души.

В бога Панас веровал глубоко и истово, но своеобразно. Для него непостижимы были не только люди иной веры, но даже и звери иных пород, не тех, которые рыскали по родной степи.

Только единожды в жизни Чгун не избежал искуса врага рода человеческого и допустил промашку, захотев приравняться хоть и к безгербовой, но всё же шляхте; а именно – по молодой поре подался на королевскую службу в Белоцерковский полк.

На ту пору явление это было не столь уж и редким, и низовое товарищество смотрело на это сквозь пальцы. Ренегат, ежели только не сделал бесчестного поступка против низового товарищества, всегда мог вернуться на Сечь и рассчитывать на свои три аршина лавки в родном курене.

Некоторое время в полку к Панасу был расположен сам белоцерковский полковник.

Тут надобно пояснить, что такое на ту пору, к которой восходит история пребывания Чгуна на королевской службе, был реестровый полковник. Гетманская старшина, во всём подражая ляхам, вообще держала себя чрезвычайно значительно, ибо, под стать тому веку, всё, что имело маломальскую власть, стремилось казаться вельможным и величественным. А уж удалённость от метрополии и королевских чиновников, почитавших украины Руси азиатчиной, и тем паче чувства, которые испытывает всякий служивый человек, имеющий под своей рукою значительную оружную силу, быстро делало из шляхтичей, назначаемых польским правительством на уряд, некоторое подобие местных вельмож.

Вот и сидели полковники в своих полках как удельные князья и, власть имея великую, часто заменяли собою и закон, и суд. Местная подрукавная, мелкотравчатая шляхта низменно искала их благосклонности, магнаты и крупные землевладельцы хотя и смотрели на козацкие полки всегда искоса, однако, ввиду близкого пограничья, нуждались в их услугах. А уж для простого реестрового козака был полковник чем-то навроде наместника господа бога на земле.

Вписывая Чгуна в полк, полковник прельстился его сечевой славой и опытом, огромным ростом и нечеловеческой силою, но совершенно не вник в его характер. В некотором смысле Чгун являл собою тяжёлый и грубый осколок средневековья, и даже в гетманском полку, построенном отнюдь не на образцах христианских добродетелей, был точно живой памятник

лютой бранной старины. Он вполне устраивал полковую старшину, как пример для подражания на войне, но совершенно не годился для повседневного полкового обихода. Таковых неукротимых людей, как Чгун, на ту пору в гетманских полках было немного, а в городах и сёлах они уже и вовсе перевелись.

В полку ход поприща удалого запорожца был скор, как созревание чирея. Панас довольно скоро получил сотницкий уряд, а сотня его в полку сделалась лучшею.

Выделив запорожца за усердие в службе, полковник попытался было приблизить сотника к своей особе, но Чгун быстро обескуражил его своей свирепостью. Да и козаки остерегались его гнева пуще, чем гнева самого полковника, но стояли за него горю, потому что он ни под каким видом никому не давал их в какое-либо притеснение.

На уряде пробыл Панас недолго, ибо вскоре полковой чин всеми правдами и неправдами постарался от него избавиться. Больно уж оказался сотник свиреп и неукротим, даже по меркам той кровавой эпохи. Старуха с косою едва поспевала за ним, и карканье жирных трупных воронов сопровождало его повсюду, как полковая музыка. Дикий от природы, в войну Чгун веровал истово, как азартный игрок верует в свою удачу, но полагался более не на военное искусство, а на кулак и меч. Сомнения редко искушали этого прямого человека, и думать он начинал, обыкновенно, лишь после того, как вытирал пучком соломы окровавленную саблю.

Когда сотня его несла службу, следовало ожидать либо трупа жида в каком-либо местечке, а не то чего-нибудь похлеще. Сотник и сам не таился и открыто говорил, что всяких недоверков и погань бил всегда насмерть и в дальнейшем будет так же бить. Был сразу урождён Панас на свет с сумрачной душою и великим запасом ненависти к человеческому сброду, к которому он причислял всех не христиан.

Справедливости ради надобно заметить, что и христианам перепало от него довольно. Не вовремя слетевшая с неповоротливой головы шапка либо малопочтительный взор зазевавшегося пенька-селянина, недостаточно проворно уступившего дорогу, в лучшем случае могли стоить тому зубов.

Вскоре польский комиссар сейма по козацким делам, разбирающий жалобы на реестровых козаков, посоветовал белоцерковскому полковнику избавиться от непредсказуемого сотника любым путём. Не мудрено, что мало спустя Чгун, с верёвкою на шее, снова замаячил на Низу, бежав из-под следствия по обвинению в убийстве какого-то шляхтича. На Сечи чумовой козак вновь пришёлся впору и не раз бывал поднимаем на атаманство в своём курене.

Человек простой, но себе на уме, ходил Чгун по жизни прямыми дорогами и смысла в ней не искал, полагая, что жить стоит только за-ради славы рыцарской. Бесхитростной прямою, жестокостью, решительностью и крайностью всегда отзывался его голос на военных советах. Полагал Панас, что для рыцаря лучше сломиться, чем гнуться, а непобедим лишь тот, кто выжжен дотла.

Чгун был незаменим в положениях, когда надобно было проявить твердолобость и стоять до конца, когда же требовалась осмотрительность, терпеливость, умение обдумывать, прикинуть, повернуть так и эдак, появлялся на сцене другой сотник – Януш Кропівка.

... Был Януш настоящим, с гербом и фамилией, польским шляхтичем. В ранней юности он крепко кого-то обидел на этом суетном празднике жизни, за что был подвергнут в Польше инфамии и баниции. Когда замаячил небогатый выбор между животом и посадением на сваю, то Ян предпочёл бесчестной гибели Сечь. Попал он туда в ту пору, когда на Запорожье жива ещё была память о Косинском и Зборовском, и приток благородного шляхетного люда никого не удивлял.

Родился Януш на свет божий не без ума и таланта, с натурой тонкой и сложною, имел природный вкус к жизни, смотрел на всё беспечно, и свой век старался усладить доступными удовольствиями. Бретёр, повеса, гуляка и игрок, шагал он по жизни по колёно в крови, но серд-

цем тянулся к изящному и в глубине души был поэтом (что, впрочем, очень тщательно скрывал).

Язык имел Ян страшно долгий, а нрав едучий и славился тем, что не пощадит и не уважит любого, разбранив и высмеяв за низкое свойство, поступок гадкий, оплошность, а то и просто за то, что попался не вовремя на глаза. За свою злоязыкость и был он прозван на Запорожье Кропівой, но и в этом свойстве пришёлся на Сечи ко двору, ибо при величайшей неотёсанности общей массы запорожцев, страсть к насмешничеству была у них развита необычайно.

Но дело своё сотник знал туго, в бою был хитёр, покоен и осечек не ведал. То, что с помощью сабли можно сделать с человеком, приводило его в состояние суеверного блаженства, несравнимого ни с чем. Чужой боли он не чувствовал, своей не боялся, и кровь пускал охотно, особое предпочтение отдавая шляхетной.

Зрак его было устроено таким образом, что мир он видел только с изнанки и не верил тому, кто проповедует любовь к ближнему, не будучи готовым расплатиться за это собственной жизнью. В овечью шкуру Ян не рядился, жил широко и буйно, и по капризу сердца, с одинаковой лёгкостью мог снять с человека голову или отсыпать первому попавшемуся нищему жменю дукатов. Промысел божий уготовил ему бродяжью долю, но он принял её с достоинством, ибо был человеком судьбы и верил в свою удачу...

... – Що скажете? – переспросил теряющий терпение полковник.

Старшина, будучи себе на уме, безмолвствовала, ибо поспешив выступить на совете с необдуманном, глупым словом, можно было не только выставить себя на посмешище, но и снискать какое-нибудь обидное прозвание.

Вечно смурной Чгун набычившись, сопел как кузнечные меха, и дробя какую-то громоздкую глыбу мыслей, наматывал чуприну на толстый свой палец. Ян улыбался в ус, рассматривая севшую ему на эфес сабли изумрудную стрекозу, а есаул уставил очи в небеса, словно ожидая оттуда для себя знака.

– Кони у нас хорошие, стрельбы довольно, можно попытаться счастья спуститься на Запорожье, – продолжил полковник, мерцая белками глаз. – А не то пойти за Томашевичем и долежать зиму на Дону у побратимов? А по весне, як степь просохне и поднимется первая трава – вернуться. До того часу, може<sup>138</sup>, и ляхи о нас запомнят...

– Эге ж, пан полковник! Грехи наши не таковы, щоб в Польше их запомнили! – эхом откликнулся Корсак. – Мыслишь, полковник, за простого козака сойти? – есаул впери в Шамая свой взор. – Так нет! назначил вже Потоцкий за твою голову окуп немалый, и скоро всякая лядська курва станет за тобою охотиться. Да и вашим, панове, – Корсак повернулся к сотникам, – головам и рукам, найдут ляхи достойное применение: будут возить их на показ по всем торжищам!

– Цур<sup>139</sup> меня! – перекрестился суеверный Чгун, а Януш, в знак полного презрения к смерти криво ухмыльнулся и презрительно сплюнул на сторону.

Снова воцарилось нудное молчание.

Тут Кропів, запустив руку в пояс, извлёк на свет божий изящную вещицу – серебряную с чернью, табакерку. Открыв её, Ян захватил пальцами щепоть душистого табаку, затолкал в ноздри и, потянув носом, чихнул три раза кряду, прижмурившись как кот от наслаждения.

– Я мыслю, – неторопливо и веско вступил Ян, вытирая выбитую ядрёным тютюном слезу, – надобно и нам идти на приставство<sup>140</sup> на Дон. А коли не посудьбится весною на Низ

<sup>138</sup> *Мо́же* (укр. *мо́же*) – может быть.

<sup>139</sup> *Говорить «цур» (цур), цура́ться (цура́ться)* – ограждать себя от кого (чего)нибудь (в играх, в заклинаниях против нечистой силы и т.п.), отречься заклинаясь, отказываться, боязливо сторониться, избегать кого (чего)нибудь.

<sup>140</sup> *При́ставство (устар.)* – в описываемую эпоху местность (территория) захваченная (контролируемая) отрядом донских казаков (станцией), и находящаяся в их коллективном кормлении. При́ставство было не чем иным, как архаичным

спуститься, можно и с донцами пойти куда-либо. А не то податься вслед за Острияницей до москаля. Порубежные воеводы теперь приветливы и охотно берут козаков на службу, ибо на то московский государь дал указ, дабы они имели бережение и ласку...

В этом месте складной Кропивненской речи Панас вынул люльку изо рта и скривился как от горькой редьки:

– Тю! То стара писня! – Чгун презрительно сплюнул. – Я козак! и я не хочу! Тебе, пан Лысэцкий, скризь<sup>141</sup> добре, де нам погано! Пану осталось только в лапти обуться, выучиться у москаля на балалайке треньчать да пойти з ведмедём по торжищам!

Уже только назвав Яна природным именем, Чгун заведомо оскорблял сотника, ибо всякий сечевик, взяв новое прозвание, не любил, когда поминали прежнее.

– Напрасно, напрасно пан Панас старается зацепить меня, – собрав всё отпущенное богом хладнокровие сдержанно ответил Кропівва, – я бывал на Москве и знаю. Православный люд на москальской стороне весьма богобоязненный и благочестивый и живёт по самому строгому церковному статуту...

– Москаль – люд суть рабский, и даже вряд ли единой з нами веры! – грубо перебил его Чгун, вытalkingивая из себя тяжёлые как чугунные ядра, слова. – У нас вера греческа, а у москаля – москальска! Христиане они только по имени, бо москаль так веруе, як цар<sup>142</sup> прикаже.

– О вере толкуешь, бейбас<sup>143</sup>?! – криво оскалился Кропівва, показав полный рот мелких и частых как у щуки зубов. – А кто сего года на Святую Пасху варёными раками христосовался?!

– Що ты путаешь?! – изумлённо вытаращился на Яна, сбитый с мысли Чгун. – Яки ще раки?! Я толкую, шо я до москаля не хочу! Жить пид<sup>144</sup> их воеводами подло, як кроты, да плодиться по слободам, як вошь в кожухе?! То не по мне! Она донцы вже у царя пытаются дозволение на море выходить! Тому я и на Дон идти не хочу. Мыслю, надобно до Сичи<sup>145</sup> пробиваться!

– Пан Чгун мыслит! Сократ хренов! Не розумею только которым местом! А я скажу, которым – сракою<sup>146</sup>! От тож на Сечи будут все премного довольны, коли мы за собою Потоцкого с Ярёмой<sup>147</sup> приведём! Не можно нам ныне до Сечи! – с этими словами Кропівва снова чихнул и, вынувши из рукава чистый платок, степенно исправил что следует.

Задетый за живое Чгун, наблюдал за ним, как кот за мышью. Когда с церемонией очищения сотницкого носа было покончено, Панас едко прогудел:

– От що есть шляхетный уродзонный гонор! До Сичи паныч прыбиг<sup>148</sup> з шаблею<sup>149</sup>, пидвязанной мочалом, а ныне вже и соплю з носа об землю не бье!

– Поцалуй меня в дупу<sup>150</sup>, – хмелея от закипающей ярости процедил Кропівва. – Пан, даром, что на уряде сотником в полку обретался, – Януш презрительно изломил бровь, – а как был мужланом, так и по эту пору остался!

---

*институтом взимания ренты, характерным для раннего феодализма.*

<sup>141</sup> *Скризь* (укр. *скризь*) – везде.

<sup>142</sup> *Цар* (укр. *цар*) – царь.

<sup>143</sup> *Бейбас* (*байбус*) – болван, дурак. Вероятно, заимств. (во второй части, возможно, содержится диалектическая форма турецк. «*baş*» – голова).

<sup>144</sup> *Пид* (укр. *pid*) – под.

<sup>145</sup> *Сичи* (укр. *Січі*) – Сечи (Запорожской. – А. Ч).

<sup>146</sup> *Сраіка* (простонарод.) – задница.

<sup>147</sup> *Ярёма* (укр. *Яре́ма*) – так запорожцы называли князя Иеремию Вишневецкого (см. примечания).

<sup>148</sup> *Прыбиг* (укр. *прибиг*) – прибежал.

<sup>149</sup> *Шаблею* – саблю (от укр. *шабля* – сабля).

<sup>150</sup> *Дупа* (польск. *dupa*) – задница.

Чгун при упоминании королевской службы враз побагровел до удушья и заскрежетал зубами так, что люлька затрещала. Гнев разбух в его груди как тесто в квашне, и начал распирать рёбра. Морща необъятное, как у вола-пятилетка чело, сотник некоторое время собирал по закуткам памяти подходящие, позволяющие не уронить свой чести, слова.

– Я хочь у реестри промеж шляхты був, но в шляхетство так, только ус обмочив... – Панас выставил вперёд толстый свой палец с обгрызленным ногтем и угрожающе поводит им из стороны в сторону перед носом сотника. – Зато я веры батьковской не меняв! – бухнул Чгун.

Мгновенно вспыхнувший страшным гневом Кропíва, однако снова совладал с собою, и только старый сабельный рубц начал наливаясь тяжёлым багровым цветом – верный признак подступающего бешенства. Глубоко уязвлённый Ян твёрдо положил себе отомстить Чгуну и в уме подыскивал верное слово, которое могло бы ударить того в самое сердце. С трудом совладав со своим гневом, он деланно откашлялся и вкрадчиво завёл Чгуну крючок под губу:

– А зачем же вольного козака запорожского понесло на Гетманщину?

Панас насторожился, как квочка, увидевшая тень коршуна, но благоразумно промолчал.

– Разве торговать своею саблей да лизать чоботы панству? – торжествующе взвился Кропíва.

Несколько растерявшийся Чгун густо засопел и, упрямо избочив голову, сделался удивительно похож на средней величины медведя.

– Я не панству служив, а крулю...

– Брешешь, йолоп<sup>151</sup>! – облил Ян Чгуна ехидной улыбкой. – Брешешь! Ты круля и в очи сроду не видел! Служил ты панству, тому что с их стола и тебе толстый шматок сала перепал!

– Не больно-то и товстый, – буркнул Панас, уже не радый что связался со злоязыким сотником. – Шо ты Ян прыстав до меня, як репях?

Но было поздно, и примерительный тон Чгуна не возымел на Януша должного действия. Кропíву, уже несло как порвавшую постромки лошадь под гору. Всякий знал, что коли сотник вцеплялся в кого-либо в споре, то не успокаивался, покуда не смешивал противника с землёю.

– Может и не толстый... – Ян прищурился и навёл на Чгуна своё око. – Да видно того куска было довольно, чтобы у пана очи поросычьим жиром затянуло. Но как только прищемили пану-козаку на Гетманщине хвост, он тотчас прибежал до Сечи, визжа как пидсвынок<sup>152</sup>!

Тут едучий сотник, не без таланта изобразил, как толстому и грубому своему голосу Панас пытается придать плаксивые нотки:

– «Братчыкы, риднэньки, вкрийтэ козаченьку нэщасного, бо його трэкляті ляхи хочуть пидвисыть за шию!»<sup>153</sup>

– Брешешь, паскуда<sup>154</sup>! – подскочил как ужаленный Чгун, судорожно шаря на боку саблю. – В пекло<sup>155</sup>!

– Замкнш сен<sup>156</sup>, ты, быдлаку хамски! – тоже вскочивший на ноги Кропíва, безбожно мешая польские и русинские слова и ворочая налитыми кровью очами, поднёс Чгуну свой костлявый сухой кулак.

– Давно цього<sup>157</sup> не куштував, пся крев<sup>158</sup>?!

<sup>151</sup> *Йолоп* (укр. *йолоп*) – дурень, недотепа, болван, остолоп.

<sup>152</sup> *Пидсвынок* (укр. *підсвинок*) – поросёнок.

<sup>153</sup> «*Браітчыкы, ріднэнькі, вкрийте козачэньку нещасного, бо його трэкляті ляхи хочуть пидвісіть за шию*» (укр.) – *Братчуки, родненькие, укройте козаченьку несчастного, ибо его проклятые поляки хотят подвесить за шею.*

<sup>154</sup> *Паскуда* (польск. *pasкуда*) – гадость, мерзость, пакостник, подлец.

<sup>155</sup> *В пекло* – здесь в значении «отправляйся в ад» (укр. *пекло* – ад).

<sup>156</sup> *Замкнш сен, ты, быдлаку хамски* (польск. *zamknij się ty bydlaku chamski*) – *заткнись, хамское быдло.*

<sup>157</sup> *Цього не куштував* (укр. *цього не куштував*) – *этого не пробовал.*

<sup>158</sup> *Пся крев* (польск. *psia krew*) – в дословном переводе «пёсья кровь». По содержанию близко к бранному «сукин (сучий) сын».

...Вся Сечь знала об давней дружбе Чгу́на и Кропи́вы, хотя, казалось, общего было промеж них столько же, сколько у дубового чурбака с колуном. И вся Сечь знала, что не бывало промеж них такого спора, чтобы они не доходили до прямых, взаимных оскорблений.

## Глава IX

Судьба свела их четверть века назад, когда погожим летним вечером Шамай, ехавший с десятком козаков с волости на Сечь, подъезжал к Жёлтым Водам, где хотел заночевать в возышающемся над степью урочище.

Шлях был хорошо знакомый и скучный. Из всех незатейливых дорожных развлечений только того и было, что встреча с медведем, которого козаки застрелили. Но ввиду самого урочища, близ Очеретной балки, внимание запорожцев привлекли хлопнувшие в лесу выстрелы, жалобное ржание коня, крики и звон сабель.

Шамай тотчас велел спешиться у придорожного креста и, оставив с конями двух коноводов, повёл козаков на шум.

Лес тут состоял из столетних разложистых дубов и диких груш, сплошь заросших орешником, боярышником и терном, но местами густые кусты расступались, образуя небольшие поляны, покрытые папоротником, достающим всаднику до колен.

На одной такой поляне их взорам открылась обычная для того железного века сцена, когда право сильного властвовало не только над людьми, но и над законом.

Прислонившись спиной к старому дубу, молодой человек, с окровавленным ликом, судя по обличью как будто шляхтич, отчаянно отбивался от нападавших на него людей. Как видно, перед тем он сидел у костерка, который едва курился теперь, залитый варевом из опрокинутого котла. Тут же понуро стоял разнузданный но не рассёдланный его конь.

С противной стороны Шамай счёл десяток людей. На юношу, мешая друг другу, наседали двое, однако было заметно, что они стараются не зарубить его, а ранить или выбить саблю. Ещё один, одетый татарин, раскручивал над головой аркан и готовился набросить петлю. Неподалёку, на земле, подвывая и раскачиваясь в беспамятстве, баюкал разрубленную в плече руку четвёртый. Пятого, лежавшего, неловко подвернув под себя ногу, можно было не считать, ибо, судя по чёрному от пороха окровавленному лику, он был застрелен в упор. Чуть поодаль ещё четверо оружных людей, притапывая ногами от нетерпения и бряцая саблями, держали под уздцы лошадей. Вокруг дуба гарцевал на коне, как видно, предводитель людоловов, по виду тоже шляхтич, и, страшно бранясь, подавал советы нападавшим.

В одну минуту Шамай оглядел поляну, сделал знак козакам и, поднявшись, вышел из кустов.

В первую миг, распалённые азартом душегубы совершенно не обратили на него никакого внимания, ибо Шамай оказался у них за спиной, так что он был принуждён выкликнуть довольно громко и насмешливо: «Бог в помощь!».

Неожиданное явление за спинами запорожца, и ещё более неожиданная своею неуместностью фраза произвели на лихоимцев такое ошеломительное действие, как если бы посреди тихого, ясного и солнечного дня, внезапно грянул гром. Все поворотились на окрик и в изумлении воззрились на козака, непринуждённо отряхивающего жупан.

Юноша, тяжело дыша, опустил саблю и в изнеможении опёрся спиной о дерево. На поляне воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь гудением хрущей над цветущим кустом дикой вишни и тоскливым завыванием раненого.

Первым опамятовался шляхтич на коне. Подняв его на дыбы, так что показалась набитая меж задних ног желтоватая пена, он в два прыжка встал перед запорожцем. Тревожно и зло, озираясь бегающими во все стороны очами, лях выпалил:

– Ты... ты козак, чего тут?!

В ответ Шамай, одарив ляха самой безмятежной и щирой улыбкой, презрительно сплюнул под ноги его коню. Ярость исказила побагровевший лик всадника, налитые кровью очи

выпучились. Бранясь и осаживая крутящегося коня, он выкликнул бессвязно и запальчиво, немилосердно брызгая слюною:

– Иджъ до пекла<sup>159</sup>! Это шляхетные дела! Пошёл прочь, галган<sup>160</sup>, коли жизнь дорога!

– Не засти<sup>161</sup>, пане, не засти! Я уже вижу, что ты за шляхтич, – хладнокровно ответил Шамай, отступая от теснившего его конём ляха. – Пёс бесчестный! Тут тебе, подлая душа, не Жечь<sup>162</sup>, тут – Дикое Поле!

Захлебнувшийся яростью лях затрясся как в падучей и выхватил саблю.

Но сей миг в воздухе фыркнул чекан Шамая, и занозистого ляха точно порывом ветра с коня сдуло. Тут же из кустов хлопнули самопалы запорогов.

С оголённой вершины дуба, под которым отбивался юноша, с пронзительным криком сорвался и улетел перепуганный до смерти дятел, и поляну заволкло дымом. В этом дыму трое коноводов и человек с арканом, как подрезанные снопы, рухнули на землю. Юноша тоже не остался безучастным назерщиком: прыгнул как волк и напрочь снёс пол головы одному из нападавших. Остальных, не исключая и раненого, порубили запорожцы.

Когда дым рассеялся, на поляне лежали лишь трупы людоловов, а козаки ловили их коней. Шамай, не обращая на юношу никакого внимания, присев на корточки, разглядывая убитого им ляха.

Молодой человек меж тем, обтерев саблю об ближний труп, вложил её в ножны. Прерывисто дыша и прихрамывая, он подошёл к Шамая и довольно учтиво заговорил, мешая польские и русинские слова.

– Дозволь поблагодарить пана за благородный поступок и моё счастливое избавление от сих лотров<sup>163</sup>! К услугам твоей пан милости, – юноша поклонился, – Януш Лисецкий с Лишек, шляхтич герба Лис<sup>164</sup>.

Шамай поднял голову и усмехнувшись молвил, точно загадку загадал:

– Коша Низового сотник Шамай.

Януш и секундой не замешкался.

– Запорожцы – славные рыцари, и воинству сему завидовал не один король, – так мой покойный отец говорил. А дед мой, прошу пана, с козаками достославного гетмана Шаха<sup>165</sup> ходил сажать на молдавский престол Подкову...

– Благославлен и отец, родивший такого сына! – Шамай, испытывающий известную слабость к храбрецам, не без любопытства оглядел юного панича.

Пред собою он увидел ладного, худошавого, светловолосого и пригожего ликом молодого человека. В открытом взоре его читалось благородство и отвага, но несколько раньше срока прорезавшихся злых морщин делали его не по возрасту серьёзным и жестоким.

– Благодарю пана! – Ян склонился над трупом, взгляделся тому в лик, и улыбка, более похожая на волчий оскал, тронула его губы.

«Третий» – непонятно пробормотал он.

Ощупав проломленную подплывшую кровью грудь мертвеца, Ян поднял чекан и, взвесив его в руке, подал Шамая:

<sup>159</sup> *Иджъ до пекла* (польск. *idź do piekła*) – отправляйся в ад.

<sup>160</sup> *Галган* (укр. *галган*) – непутёвый человек, лодырь, оборванец, пьяница.

<sup>161</sup> *Засти* (устар.) – заслонять свет.

<sup>162</sup> *Жечь* – принятое в ту эпоху в Польше, на Запорожье и Южной Руси, в обиходе, сокращённое название Речи Посполитой («Речь Посполитая» на польском языке произносится как «Жечь Посполита»).

<sup>163</sup> *Лотр* (польск. *łotr*) – разбойник, бандит.

<sup>164</sup> ...*Януш Лисецкий с Лишек, шляхтич герба Лис*. – В описываемую эпоху, у польских шляхтичей, представляясь, было принято говорить, откуда они родом и называть свой фамильный герб. *Лис* (польск. *Lis, Lyssowye, Lisy*) – древний польский дворянский герб (см. примечания).

<sup>165</sup> *Гетман Шах...* – Имеется в виду *Яков (Константи) Шах, есаул, гетман Войска Низового Запорожского* (см. примечания).

– Как же пан так чеканом распорядился, что с одного удара дух из супостата вышиб?!

В столь неприкрытой и грубой лести было столько искреннего и простодушного восхищения, что обычно невозмутимый Шамай только хмыкнул в ус.

– Учтивая речь и открытое сердце, – буркнул он себе под нос. – Однако я вижу, лихоимец сей – знакомец панича?

– Что ж, твоя милость явил благородство, и я не буду кривить душою, – голос молодого шляхтича зазвучал глухо. – Действительно, стерво это, – Януш плюнул на труп, – мой враг заклятый. И пан не просто от погибели меня спас, но от казни лютой, которая мне уготовлена могущественными недругами, сживающими меня со свету и загнавшими, как дикого зверя, уже почитай на край земли. Отныне я должник пана...

– Пустое, панич... Божий свет тесен, как-нибудь сочтёмся...

Шамай сунул чекан за пояс и поворотился к запорожцам, обыскивающим трупы:

– Чгун! Нехай панич берёт своего коня, – Шамай глянул на коня Яна и покачал головою. – Дай ему ще одного коня. И припасу всякого дай на два дня.

Козак, как видно ровесник Яна, но обличья столь могучего, что каждый, видевший его впервые, поневоле добавлял ему лет, удивлённо пробасил:

– Шам! З якого пэрэляку ему ще одного коня? То кони теперь по праву наши! И своего ему буде довольно! Нехай богowi свичку поставит, що живым остався...

Януш, у которого к хорошему слуху бесплатным приложением был острый язык, тут же, не оборачиваясь, презрительно бросил через плечо:

– Исполняй-ка, братец, что тебе пан старшой велел, да не рассуждай!

На поляне установилась нехорошая, предгрозовая тишина, и в воздухе отчётливо запахло новым смертоубийством.

Панас, торочивший что-то на пойманного коня, оставил своё занятие. Побагровев и набычившись, тяжёлой поступью богатыря он подошёл к Яну, поворотившемуся к нему с самой независимою миной.

Шамай, хотевший было попритереть козака, внезапно передумал и решил посмотреть, как покажет себя дерзкий лях перед лицом новой угрозы.

Некоторое время противники молча стояли и смотрели друг на друга, как два диких вепря, сверкая очами и раздувая ноздри, при этом Чгун своими маленькими медвежьими глазками, казалось, пробуравил во лбу злоязыкого ляха дырку величиною с волошский орех.

Но на Яна это не произвело должного впечатления, лишь кровь напрочь сбежала с его лица.

– У которого длинный язык – у того жизнь короткая..., – угрожающе зарокотал Чгун. – Ты бы, ляшко, попритержал своё ботало<sup>166</sup>, не то...

– Не то что? – надменно заложил руки за пояс Ян. – Пан-козак биться со мною будет?

– Биться? С кем? с тобою?! – безмерно изумился Чгун. – И на чём же панич хочет со мною биться?!

– Да на чём угодно! хоть на саблях, хоть на кулаках!

Словно громом поражённый, козак, уподобившись выброшенному из воды судаку, несколько раз открыл и закрыл рот и вдруг откинувшись назад и взявшись за пояс, расхохотался так гулко, что стоявшие поблизости кони отшатнулись.

– Сохрани меня боже от скаженой<sup>167</sup> воши! Ось це по-нашему! От за цэ я тебе уважу! – тут Панас от всего сердца так хлопнул Януша по плечу своею дланью, напоминавшей средней величины заступ, что у того моментально онемела рука.

<sup>166</sup> *Ботало* (мест.) – здесь в значении «болтливый язык» (возможно, от «ботала» – погремушки, колокольчика из железного, медного листа или дерева, подвешивающегося на шею пасущейся коровы или лошади).

<sup>167</sup> *Скаженой* (укр. скаженої) – ненормальной, безумной, бешеной.

«Вот наградил же создатель дурня такой силою!» – так подумал юноша про нового знакомого, но в слух молвил совсем другое:

– Да пан-козак – точно античный Геркулес! Признаться, таковых могучих людей я допреж не видывал! Мыслью, не всякий медведь супротив пана выстоит!

Простодушный Панас снова было насторожился, разобрав в речи Яна, путающего русинские и польские слова, какого-то незнакомого ему «Геркулеса», и пристально взгляделся в лик шляхтича, силясь разгадать, не насмехается ли тот над ним. Но, увидев лишь восхищение и приязнь, отбросил все сомнения и, сунув ему свою лопатообразную ладонь, довольно прогудел:

– Дозволь руку панич, я – Панас Чгун, козак Коша Запорожского.

– Януш Лисецкий, и без церемоний! – шляхтич чуть поморщился, когда его узкая ладонь совершенно скрылась, стиснутая в огромной лапе запорожца.

– Як же панич, такой... – здесь косноязычий Чгун постарался подобрать такое слово, которое бы не оскорбило шляхтича, – такой... невзрачный и невеличкий<sup>168</sup>, як горобчик<sup>169</sup>, не устрасился со мною биться?

– За обиду, нанесённую чести и достоинству, никому не попусти, – ответил Ян, потирая плечо, и, поворотившись к Шамáю, улыбнулся открыто и искренне, – Я – убогий<sup>170</sup> шляхтич, и у меня, кроме чести и сабли нет ничего.

«З любой петли вывернется», – так окончательно определил для себя юного поляка Шамáй и огляделся. Сумрак уже клубился кругом, лес темнел всё больше и больше, и оголённая вершина дуба, того самого, под которым отбивался Ян, точно диковинными плодами покрылась рассевающимися по сучьям на ночлег тетеревами.

Шамáй вставил ногу в стремя:

– Хлопцы, побытых в кущи бросить да заложить хмызом<sup>171</sup>. До утра от них зверь и кисток<sup>172</sup> не оставит. А нам нема за що<sup>173</sup> тут мешкать, отъедем и заночуем в другом месте.

– Панове козаки! – неожиданно обратился ко всем Ян и снял шапку, в волнении ломая её в руках, – А возьмите меня с собою!

– Тю! – Шамáй с изумлением посмотрел на панича. – Как же мы тебя возмём? куда? Ведь мы до Сечи едем! Нет, не можно!

По лику Яна пошли красные пятна, и он задрожал всем телом.

– А хоть бы и до Сечи! Я ведь, прошу пана, до вас и пробирался!

– Хм... Не можно... Тем паче, панич – католик... Как же пан будет на Сечи?! На Запорожье, даже простое проживание иноверцев без особого разрешения его милости кошевого атамана не дозволяется. Над таковым человеком могут в любой час совершить самосуд. Панича убьют уже только в предместье! – Шамáй сел на коня. – Нет, Януш, совсем не можно! Всякий человек должен жить со своим народом.

Тут юный шляхтич вдругорядь всех удивил, ибо неожиданно бухнулся на колени и приложил руки к груди:

– До дьябуа<sup>174</sup>! Где был мой бог в дни страшных страданий, выпавших на мою долю?! Мой бог отвернулся от меня! так и я отвернусь от него! – шляхтич остервенело рванул на груди ворот сорочки и сорвал нательный крест. – Где был мой народ, когда травили меня точно дикого зверя?! – голос Яна сделался страшен. – До дьябуа! Нет у меня больше ойчизны! Нет

<sup>168</sup> Невели́чкий (укр. невели́чкий) – небольшой.

<sup>169</sup> Горобчик (укр. горобчик) – воробьешек.

<sup>170</sup> Убогий – здесь в значении «крайне бедный».

<sup>171</sup> Хмыз (укр. хмиз) – небольшие сухие ветки, сучья деревьев, кустов лежащие на земле.

<sup>172</sup> Кисток (укр. кісток) – костей.

<sup>173</sup> Нема́ за що (укр. нема́ за що) – не за что.

<sup>174</sup> До дьябуа (польск. do diabła) – к дьяволу.

у меня больше веры! Панове, богоматерью вашей заклинаю! возьмите меня с собою! Перейму и веру вашу, и обычаи, и законы! Побратаюсь с вами и во всю жизнь буду делиться всем, что ни есть! Возьмите меня, панове козаки, не дайте пропасть!

Шамай, разбирая поводья, по-новому поглядел на шляхтича, и ответил раздумчиво:

– Хм... Что ж... Я пожалуй, могу замолвить за панича слово перед кошевым. Но панич должен знать, что на Сечи его ждёт премного испытаний...

Пока обрадованный Ян возился с новоприобретённым конём, привязывая к нему своего, запорожцы, обобрава трупы, побросали их в яму, которую сотворило упавшее дерево, вывернувшее своими корнями пласт земли высотой в два человеческих роста.

Смерклось всё сильнее, и уже затрепетали в небе летучие мыши. Козаки, выбравшись из лесу, ехали нога за ногу, лениво подталкивая коней пятками сапог.

Ян был занят тем, что с любопытством приглядывался к запорожцам, к их убранству, оружию, коням и даже посадке на коней, примеряясь себе на уме, как он может с выгодой для себя использовать новых знакомцев.

Панас показался ему простоватым, но вся его фигура, дышавшая удалством и выдержанной в степях устрашающей воловьей силой, заставляла поневоле относиться к нему с должным уважением.

Чгун, ехавший рядом, стремя к стремени, посапывая сосал люльку и, как истый запорожец, поглядывал на нового знакомого как-то хмуро и исподлобья. Беседа не заладилась после того, как Панас невпопад спросил у молодого поляка о его родове:

– Януш, а отчего у вас прозвание Лисецкие? От хитрости, сему зверю присущей?

– То история древняя... На гербе рода нашего, к которому принадлежит более двух сотен семейств шляхетских, лис был с времён незапамятных. А отчего и как, то теперь уже никто не помнит. А вот копьё добавилось, когда предок наш, муж благородный, на поле Марса оказал отчизне памятную услугу. Сам круль Казимир Справедливый<sup>175</sup> после победы, одержанной над ятвягами на Мзуре, даровал ему в герб этот новый знак отваги за то, что он с малым отрядом, окружённый неприятелем, дал сигнал брошенным вверх копьём с зажжённой серой, и тем спас себя и воинство от гибели...

Сирота Чгун, задетый за живое древностью рода шляхтича, знавшего своих предков в восьмом колене, заметил:

– А у меня всей родовой – Нэнька-Сич<sup>176</sup> да Великий Луг-батько... – после чего засопел и закурил люльку.

Некоторое время ехали молча. Ян подумывал, что не мешало бы узнать поболее о том месте, в котором ему теперь предстояло обретаться.

С таковым вопросом он прямо обратился к новому своему товарищу:

– Панас, друже, ты бы рассказал про Запорожье!

Чгун, как всякий запорожец, неприветливый на первых порах к постороннему человеку, попервой заговорил весьма неохотно, с грехом пополам связывая польские и русинские слова, но затем мало-помалу смягчился, и суровый его лик постепенно начал принимать живой вид.

– Да разве у нас так, как в вашей тесной земле лядской? – Панас вынул люльку изо рта и довольно презрительно сплюнул на сторону. – Что ты! У нас – простор и воля! У нас – Днепр! По козацким землям течёт он вёрст с пять-сто! Островов на нём – несчётно! Все берега, окромя порогов, коих числом девять, сплошь покрыты топкими плавнями, заросшими непролазным очеретом. В плавнях берём мы и лес, и сено, и рыбу, и зверя, и воск, и мёд. А самая знатная

<sup>175</sup> Казимі́р Справедли́вий – Казимі́р II Справедли́вий (1138—1194) – князь вислицкий, сандомирский, краковский, представитель династии Пястов.

<sup>176</sup> Нэ́нька (укр. не́нька) – мать. Сечевики часто называли Запорожскую Сечь матерью.

плавня – Великий Луг! Начинается она на Левобережье, как раз против острова Хортица<sup>177</sup>, и тянется вниз вёрст на сто, до самого Микитина Рога<sup>178</sup>. А той птицы в плавнях – Боже Великий! Как поднимаются с земли – солнце застилают. А раков?! а рыбы?! Да у вас и в помине нет таковой рыбы! Та рыба, что у вас, то так, сор против нашей!

– Ну и брехун же ты, Панас, – звонко, будто пригоршню серебра по каменному полу рассыпал, рассмеялся панич.

– Ей-бо! Истинный крест, не брешу! – забожился Чгун. – На Домоткани<sup>179</sup> я раков ловил... просто штанами! А на Орели<sup>180</sup> я в одну тоню<sup>181</sup> вытаскивал по две тысячи рыб, так что на весь курень хватало! А мёду?! У нас больше всего меда от дикой пчелы, она везде сидит, и на вербах, и на очерете. Мы их прямо дуплами вырубает. Бывает, медведи, добравшись до мёда, околевают, обожравшись. А того зверя?! Сила! Волки, лисицы, барсуки, дикие козы – так и пластают по степи. А дикие свиньи?! Такие гладкие да здоровые, что шесть козков насилу на сани поднимают! А степь?! – перегибаясь в седле, жарко дышал на поляка луком и табаком раздухарившийся Панас. – Вы, ляхи, степи настоящей сроду не видели! А вот ещё: есть дикие кони, они целыми табунами ходят по степи, так, что их на дальности расстояния можно принять за татарский чамбул. И упаси тебя боже натолкнуться на них, едучи на кобыле! Ежели который жеребец из табуна почует кобылу – побьет оглобли, поломаёт возы, а кобылу за собою непременно уведёт!

Ян, как всякий истый поляк, услышав о лошадях, тотчас оживился.

– А объездить дикого коня не пробовал?

– Пробовал, – Чгун безнадежно махнул рукою с подвешенной на петле нагайкой, – Всё без толку. Дикого коня усмирить не можно, он либо убежит, либо сдохнет, – Панас рассмеялся. – Чисто запорожец! не может, скурвый сын, жить в неволе! И хотя жеребята их могут сделаться ручными, но, ни до какой работы не способны и, ни к чему не пригодны, разве только на убой.

– Панас, а какие на Сечи, к примеру, увеселения? – перебил Януш расходившегося запорожца. Видя, что тот не совсем понял его польскую речь, панич повторил: – Ну, забавы, какие?

– Забавы? – Чгун задумался и, наморщив необъятный лоб, прикрыл очи. Явственно увиделись ему морозная зима и скованный льдом Днепр...

...Идут последние дни Филипова Поста и на заметённую снегами Сечь отовсюду начинают стекаться ватаги запорожцев. Полупустые по зимней поре курени наполняются шумной братией. Всё оживает, везде встречи старых товарищей, всюду жаркие объятия, крепкие рукопожатья и хлопанья по крутым плечам. Но хмельных не сыщешь – пост. Отовсюду разносится козацкая речь: «Навики Богу слава! Почеломкаемся<sup>182</sup>, пан Святы́й!», «Га!? Да ты ли цэ, пан Рогáчик?!», «Ей-бо, друже Васы́лько! а ведь я почитал, шо минувшего году, колы шарпалы<sup>183</sup> Бешикташ<sup>184</sup>, утоп ты в море!».

Со всех зимовников и хуторов тянутся на Сечь санные обозы с разного рода припасами, и гонят целые гурты всякого скота, предназначенного для праздничного стола.

<sup>177</sup> *Хо́ртица – крупнейший остров на Днепре (см. примечания).*

<sup>178</sup> *Микі́тин (Никі́тин) Рог – мыс, в описываемую историческую эпоху находившийся у правого берега Днепра, ниже Стукалового или Орловского острова (см. примечания).*

<sup>179</sup> *Домотка́нь – один из самых маленьких притоков Днепра. Протекает по территории Днепропетровской области современной Украины. После постройки плотины Днепропетровского водохранилища (1927 г.), которое сделало и без того небольшую реку на 7 км короче, устье реки Домоткань теперь представляет собой скорее залив водохранилища, чем устье реки.*

<sup>180</sup> *Оре́ль – левый приток Днепра. Протекает по территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей современной Украины.*

<sup>181</sup> *То́ня – одна тяга невода.*

<sup>182</sup> *Почело́мкаться (устар.) – поздороваться, поклониться друг другу, поцеловаться.*

<sup>183</sup> *Ша́рпаль (устар.) – грабить, обирать.*

<sup>184</sup> *Бешикта́ш – в описываемую эпоху большое и богатое селение в Османской империи, на европейском берегу Босфора, неоднократно подвергавшееся нападениям донцов и запорожцев.*

Над Сечью, пробудившейся от сонной одури зимней спячки, сотни дымов и рев забиваемой в предместье скотины.

И вот канун Рождества Христова! С вечера, присмирившие и чинные козаки, принаряженные в самое чепурное убранство и при оружии, собираются вокруг сечевой церкви. Тесно стоят многолюдевшие курени, и сквозь клубы выдыхаемого на крепком морозе пара мреют непокрытые, чубатые головы.

Как только завершается праздничная служба и из церкви с пением выходит сечевой клир и старшина с почтенными стариками, все курени, развернув хоругви, присоединяются к крестному ходу. Несколько тысяч луженых глоток поют так сурово, гулко и стройно, что в предместье у торгашей-иноверцев замирают сердца, и мороз продирает по коже.

По завершению крестного хода, со всех четырёх окон церковной колокольни разом дают залп пушки, и козаки начинают палить в воздух из всего, что ни есть под рукою.

А уж после этого, сечевики садятся за накрытые в куренях столы и вознаграждают себя за долгий пост так, что пот прошибает!

После праздничного застолья особо завзятые гуляки, сбившись в ватаги, в складчину нанимают в предместье возниц с санями и, повалившись кучами в шкуры, отправляются гулять на волость – в Канев, Переяслав, Чигирин, Черкассы.

До двух недель сечевики шумно бражничают, чудят и гуляют. Об той поре во всём христианском мире едва ли найдутся другие такие беззаботные головы, как козацкие! Напиваться тихо и уныло – не в запорожском заведении, и потому пыль в очи пускается такая, точно последний день на белом свете осталось прожить.

Появление запорожцев, окружённых лирниками, песенниками и целым хором музыкантов, пробуждает средневековые города от спячки обыденной жизни, и шинкари, предвкушая прибыль, обыкновенно загодя готовятся к этому событию. Шумные ватаги запорожцев в сопровождении толпы праздных зевак обходят все городские торжища, из козацкого молодечества и для потехи откупая всё, что попадает под руку. Бочки с горелкой и варенухой опорожняются одна за другою, и каждый приставший к процессии христианин может рассчитывать на дармовую выпивку...

– Панас! Я про забавы тебя спросил... – потерял терпение юноша.

– Забавы? – очнулся Чгун и огляделся вокруг невидящим взором. – Да какие, панич, на Сечи забавы? – с досадою пробасил козак. – Разве добыча зверя да рыбы? Ну, ещё молодые козаки затевает скачки об заклад, стрельбу по фигурам и рубку на тупых саблях. А сивочупринное, степенное рыцарство любит, лёжа на боку, курить тютюн, играть в кости да слушать лирников, а не то нанятый вскладчину хор церковных певчих. Да, вот ещё: в воскресные дни, после праздничной церковной службы, курени, затевают на майдане промеж себя многолюдный кулачный бой, в коем, ежели ты лантух<sup>185</sup>, то могут приколотить и до смерти...

Молодой поляк не нашёлся что сказать, услышав о таком сомнительном увеселении, и только удивлённо покрутил головою.

– Да наперёд говорю паничу, меня в кулачном бою на Сечи ещё никто не одолел! – тут Панас не без гордости показал Яну свой чудовищный кулак.

Здесь до Януша начало доходить, что простоватый с виду запорожец, которого он уже было записал в дурни, ничего полезного ему не поведал.

– Ты бы, Панас, рассказал о статутах<sup>186</sup> принятых в Войске! – желая навести козака на нужную материю, сказал Ян с некоторой досадою.

– Так то паничу до Шамы надобно, бо вин у нас голова, и ему решать, шоб паничу можно рассказать, – довольно усмехнулся Чгун.

<sup>185</sup> *Лантух* (укр. *лантух*) – неповоротливый, неловкий, неуклюжий человек, увальня.

<sup>186</sup> *Статут* – здесь употреблено в значении «закон».

Януш, мысленно посулив тугому запорожцу чёрта, пришпорил коня и, догнав Шамая, едущего в челе, обратился к нему с тем же.

«Голова», которому молодой поляк глянулся, внимательно посмотрел на тонкую шею Яна с выпирающим кадыком, перегнулся в седле и достал из сумы пресную лепёшку, завернутый в чистую тряпицу изрядный шмат сала и вяленого леща размером с полено. Дух от сала с чесноком, смешанный с острым запахом солёной рыбы пошёл такой, что у поляка рот тотчас наполнился клейкой слюною.

Отхватив кинжалом добрый кус сала, Шамай накрыл его лепёшкой, приложил рыбу, и без слов протянул всё это паничу.

Юноша, поблагодарив, поднёс было руку ко лбу, но вспомнив, что и креста католического уж нет на нём, смешался и сделал вид, что поправляет шапку.

Шамай усмехнулся в ус и медленно заговорил, подбирая польские слова:

– Кош Низовой – суть Войско Божье Запорожское, в корене своём имеет козаков запорожских...

– А как вступают в козаки? – давясь и с трудом прожёвывая, спросил Януш.

– Вступить, панич, можно только в говно. В козаки не вступают, поступают на Сечь, в Войско. Козаком не можно сделаться, козаком надобно родиться, ибо козак – это кровь, племя то бишь, таковое же как, к примеру, лях либо литвин. Уразумел?

– А откуда вышли козаки запорожские?

– Откуда вышли? – Шамай неожиданно расхохотался, так, что ехавшие сзади и тихо напевавшие песню запорожцы удивлённо замолчали. – Из тех же ворот, что и весь народ! Матерь от козака родила...

– А те козаки, что по всей украинной Руси, по всем южным воеводствам живут, с вами, с запорожцами, единокровны? – бубнил набитым ртом юноша.

– Мы одной матери дети... но... – Шамай нахмурился, и тень набежала на его лик, – братья наши на волости, сделавшись оседлыми и начав кровь мешать с кем ни попади, из воинов переродились в земледельцев, скотоводов и торгашей, – Шамай презрительно сплюнул. – Бабиться с жёнами, торговать, пахать землю и пасти свиней – не дело рыцарства. На Запорожье уважение зависит не от величины добра, а оттого, коим образом оно тебе досталось.

– А то правда, прошу пана, что на Сечи безбрачия придерживаются? – забрасывал вопросами Януш.

– То так, – подивился Шамай неожиданному повороту мыслей панича.

– Отчего? Разве вы, мосьпане, чернецы?

– Сеч воует, почитай, непрерывно. А война сватает только со смертью. Оттого, рыцарство запорожское, до холостой жизни страстное и по старожитному обычаю не признаёт брачных уз. Дабы совершенно выполнить долг козацкой жизни, надобно совсем отказаться от всех семейных обязательств, ибо по слову Апостола Павла сказано: «Не оженившийся печется о Господе, а оженившийся – о жене». От бабы и в раю человеку житья не было, а на Сечи ей и подавно делать нечего! Истый сечевик может обжениться, только когда с разрешения кошевого совсем оставит Сечь. Но это бывает весьма не часто, ибо до таковой поры мало который доживает. Те же несчастные, которые имеет жёнок, скрывают это, боясь насмешек, презрения и поражения в правах, ибо таковых, невзирая на заслуги, лишают голоса и изгоняют из Сечи.

– Весьма сурово! – поперхнулся Ян.

– А как панич себе думал?! – Шамай протянул юноше пляшку с горилкой.

– Посвятивши себя единственно делу рыцарства, мы неохотно занимаемся чем-либо иным, кроме оружия, но, имея нужду в ремеслах, купле и продаже нужных вещей, рукодельях и искусствах разного рода мы позволяем некоторым козакам обжениться и заниматься этим, но с тем, чтобы таковые, вместе с женами и детьми жили вне Сечи, на хуторах. Эти изгнанники составляют особенное, подданное сословие. Прозвище им – сидни, зимовчики либо гнездюки.

Им дозволяется селиться в пределах Запорожья и заниматься скотоводством, ремёслами, хлебопашеством, промыслами и торговлей. Но их главная обязанность – кормить Сечь. Выставляют их и в бекеты и на кордоны, обязывают чинить на Сечи строения, но на войну призывают только в исключительных случаях. Но уж тогда, невзирая на семью и хозяйство, они обязаны тотчас явиться в Кош, с добротным военным снаряжением и, имея при себе всё необходимое для похода.

– А как же, милостливый пан, племя ваше не пресекается, коли вы женщин чураетесь? – подивился Ян возвращая наполовину опорожнённый сосуд.

– А кто мешает запорожцу дитя так прижить? – хмыкнул Шамай. – На Руси бессчётно вдов и девиц, которые никогда уже не будут выданы замуж.

– Отчего? – не понял поляк, несколько осовело глядя на Шамая.

– Оттого, что поруганные, порушенные во время войн и набегов. Хотя обычай и не дозволяет приводить на Сеч женщин...

– А я слышал, что вы с набегов на Крым и Анатолию берёте женщин, – неожиданно перебил Шамая Ян, которому крепкий козацкий сикер ударил в голову.

– Хм... – опешил Шамай. – Бывает. Всё что добыто с боя, будь то оружие, конь или ясырь, ежели только он не нашей веры – всё дуваниться промеж товарищей честно. И уж коли досталась тебе полонянка, твоё дело, как с нею поступить. Коли она знатного или богатого роду – можешь затребовать за неё окуп<sup>187</sup>, а нет, так убей либо продай или обменяй, а хочешь – так отпусти. И вмешиваться в это не в праве хотя бы и сам ясновельможный пан кошевой. Ежели удаётся довести полонянок до Запорожья, то их частью покупают жида-перекупщики или знатные ляхи, а частью некоторые козаки без огласки селят по хуторам. Только я тебе, Януш, наперёд скажу, я этого не одобряю! Возня с бабами приобретения веса в среде честного рыцарства не способствует. Всякая баба, по моему разумению – ведьма...

Шамай умолк, прислушиваясь, как звякают на зубах его коня удила.

– Так вот, хотя обычай и не дозволяет приводить на Сеч женщин, но не возбраняет всякими способами отовсюду привозить детей мужского пола. Вот потом их отцы и приводят, говоря обыкновенно: «От гляньте, братья, яких я вам соколив привив<sup>188</sup>!» И никто не спрашивает, откуда у безжёнго козака взялись «соколы». И не суть, которая баба выпустила их на божий свет, хотя бы и некрещёная татарка, ибо козацтво по батьке ведётся.

– Так на Сечи – всё сплошь козаки? – спросил Ян, обескураженно сдвинув шапку на затылок.

– Почти что так. Но не всякий сечевик – козак. Мы принимаем любого, которому бог дал силу и смелость. Промеж нас живут наши побратимы с Дону и даже имеют свой, собственный, Динский курень; прибегают во множестве реестровые и городовые козаки с Гетманщины, по той поре, когда ваш пан-лях им хвост прищепит. Ну и наплыву<sup>189</sup> народов и племён всяких бывает изрядно: семиградцев<sup>190</sup>, крещёных татар, литвин, ляхов, москалей, волошин<sup>191</sup>, франков<sup>192</sup> и ещё бог знает кого! Но! человеку пришлому сделаться сечевым рыцарем так же

<sup>187</sup> Окуп – выкуп.

<sup>188</sup> Яких соколив привив (укр. яких соколів привів) – каких соколов привёл.

<sup>189</sup> На́плыв (устар.) – прибытие куда-нибудь многих людей, появление чего-нибудь где-нибудь в большом количестве. Употребляется с пренебрежительным оттенком.

<sup>190</sup> Семиградце́ц – уроженец Семиградья (Трансильвания, Эрдей), исторической области на северо-западе Румынии. В описываемую эпоху православное Трансильванское княжество находилось под верховенством турецкого султана (с 1566 года).

<sup>191</sup> Воло́шин – уроженец Вала́хии, исторической области, расположенная на юге современной Румынии, между Карпатами и Дунаем. В описываемую историческую эпоху православное княжество Вала́хия находилась под турецким господством (в 1415 г. вала́йский господарь вынужден был признать сюзеренитет османского султана, а в 1476 г. вала́йские князья окончательно стали вассалами Османской империи).

<sup>192</sup> Франк – перинятое запорожцами у мусульман общее название христиан Западной Европы.

просто, как бесу, – Шамай, поворотившись лицом на восток, перекрестился, – войти в церкву в престольный праздник.

– А мне сказывали, прошу пана, что весьма просто принимают на Сечь: надобно лишь быть человеком вольным, не женатым, в вашей вере, знать язык да признать ваши порядки.

– Эж, куда панич хватил! «Просто»! Знаю я, довольно теперь ходит по божьему свету всяких побасёнок про Сечь. Навроде той, что довольно Днепр переплыть, и вот тебе уже и готов – новостворённый сечевик! То брехня, Ян! Большинство из тех, которые до Сечи прибились, остаются меж нами... наших свиней пасти! Ты не путай Сечь с предместьем, в коем, с разрешения кошевого дозволяется жить, торговать и ремеслами заниматься христианам всех исповеданий, магометанам, жидам и даже язычникам. Всякому желающему доброхотно поступить в Кош Запорожский, перво-наперво надобно оставить все свои прежние титулы и предстать пред сечевой старшиною, к коей могут добавиться старые заслуженные деды, а когда есть сомнения в крепости веры новопривывшего – и с присовокуплением сечевого священника. Толкуют они с прищельцем на разные лады, задают ему всякие каверзные вопросы, дабы понять, каков человек пришёл и есть ли в нём нужда Войску. Всех прибывших разделяют. Коли забродя разумный, бывалый, сведущий в ратном деле человек и глянулся старшине, то таковой молодец берётся в курень на отдельное положение и особливый догляд. Он и не ученик, но и не товарищ, ибо сечевиком его не признают, пока не испытают как должно в каком-либо настоящем деле. Со всеми прочими, которых вседержитель не сподобил сразу уродиться с саблей в руке, либо просто молодыми и неопытными поступают так: который не глянулся старшине – отправляется свиней пасти. Который глянулся – тот сообразно способностям и талантам и в соответствии с потребностями берётся, в какой либо курень. Ежели он просится в определённый курень по той причине, что, допустим, имеет там знакомцев или сродственников, это тоже берётся в рассмотрение. Новопривышему батько куренной отводит в курене место в три аршина длины и два ширины, говоря обыкновенно: «Ось тобі и домовына»<sup>193</sup>

---

<sup>193</sup> *Домовы́на* (укр. *домови́на*) – могила, гроб.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.